



ФРЭНСИС СКОТТ

ФИЦДЖЕРАЛЬД

*ПРЕКРАСНЫЕ
И ОБРЕЧЕННЫЕ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Френсис Фицджеральд

Прекрасные и обреченные

«АСТ»

1922

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Фицджеральд Ф. С.

Прекрасные и обреченные / Ф. С. Фицджеральд — «АСТ»,
1922 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-110683-6

В ожидании громадного наследства Энтони Пэтч с красавицей женой Глорией прожигают жизнь в Нью-Йорке. Обеды в дорогих ресторанах, бесконечные вечеринки с друзьями и роскошные приемы – казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но когда шансы получить богатство становятся призрачными, блистательной паре придется столкнуться с жестокой реальностью: за все приходится платить – порой неподъемную цену...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-110683-6

© Фицджеральд Ф. С., 1922

© АСТ, 1922

Содержание

Книга первая	5
Глава первая	5
Энтони Пэтч	5
Достойный человек и его даровитый сын	5
Личность героя и его прошлое	7
Безупречное жилище	8
Без суеты	9
После полудня	12
Трое мужчин	13
Ночь	16
В раю. Взгляд в прошлое	17
Глава вторая	20
Портрет сирены	20
Дамские ножки	26
Тревога	30
Прекрасная дама	33
Неудовлетворенность	36
Восхищение	39
Глава третья	44
Ценитель поцелуев	44
Две юные дамы	48
Бесславный конец шевалье О'Кифи	50
Солнечный свет и лунное сияние	54
Волшебство	60
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Прекрасные и обреченные

Книга первая

Глава первая

Энтони Пэтч

В 1913 году Энтони Пэтчу исполнилось двадцать пять лет, и вот уже два года, как на него, во всяком случае, предположительно, снизошел святой дух тех дней, именуемый иронией. Ирония являла собой наведенный в последнюю минуту глянец, придающий ботинку безупречный вид, завершающее прикосновение щетки к костюму, в некотором роде интеллектуальное «Есть!». Однако в начале этого повествования Энтони пока пребывает на стадии осознания. При первой встрече его еще волнует, не утратил ли он честь и благородство, а заодно и рассудок. Не представляет ли собой постыдное, непристойное ничтожество, жирно поблескивающее на лице окружающего мира подобно масляному пятну на чистой поверхности пруда. Разумеется, настроения менялись, и наступали периоды, когда Энтони считал себя юношей в определенном смысле исключительным, в достаточной степени утонченным и искусственным, прекрасно приспособившимся к условиям, в которых приходится жить, и, пожалуй, более содержательным из всех своих знакомых.

Такое состояние оказывало на Энтони благотворное действие и делало его жизнерадостным, симпатичным и привлекательным для наделенных умом мужчин и абсолютно всех женщин. Пребывая в нем, он полагал, что в один прекрасный день совершит некое скромное, отмеченное печатью изысканности деяние, которое избранные сочтут достойным поступком, и со временем вольется в сонм неярких звезд на туманном небосклоне, на полпути между смертью и бессмертием. А пока не настало время для решительных действий, пусть он будет просто Энтони Пэтчем, не застывшим портретом, а самобытной энергичной личностью, своенравной, с долей высокомерия и идущими из глубины души порывами. Человеком, который, зная, что чести в этом мире нет и быть не может, тем не менее ее имеет, кто понимает всю надуманность представлений о мужестве и при этом является храбрецом.

Достойный человек и его даровитый сын

Внук Адама Дж. Пэтча, Энтони впитал в себя сознание социальной защищенности и стабильности, словно вел происхождение от некогда обитавших за океаном крестоносцев. И это неизбежно. Как бы там ни было, виргинская и бостонская аристократия опиралась исключительно на деньги и ставила богатство неизменным условием.

Итак, Адам Дж. Пэтч, более известный как Брюзга Пэтч, в начале 1861 года покинул отцовскую ферму в Тэrrитауне и записался в Нью-Йоркский кавалерийский полк. Вернувшись с войны в чине майора, он взял штурмом Уолл-стрит и среди царившей там суеты и неразберихи, громких восторгов и недоброжелательности умудрился скопить около семидесяти пяти миллионов долларов.

До пятидесяти семи лет сбор денег отнимал всю энергию. Именно в этом возрасте, после жестокого приступа склероза он решил потратить остаток жизненных сил на моральное возрождение окружающего мира, став выдающимся реформатором. По примеру Энтони Комстока, прославившегося блистательной деятельностью на этом поприще, в честь которого и был назван внук, он обрушил град апперкотов и мощных ударов по корпусу на алкоголь, литературу и искусство, любые проявления порока, патентованные лекарства и воскресный любительский театр. Под воздействием вероломной плесени, которая со временем прокрадывается в мозг, щадя лишь немногих избранных, Адам с жаром реагировал на любое проявление общественного возмущения, случавшегося в те дни. Из кресла в кабинете особняка в Тэrrитауне он развернул против предполагаемого могущественного противника, называемого «нечестивость», кампанию, длившуюся пятнадцать лет, в течение которых показал себя неистовым воителем и нестерпимым занудой. В год начала нашего повествования силы стали ему изменять, и сокрушительные атаки отлаженной военной кампании свелись к беспорядочной стрельбе. События далекого 1861 года постепенно заслоняли жизнь, бурлившую в году 1895-м, и мысли Адама Пэтча сосредоточились на Гражданской войне. Иногда он вспоминал покойную жену и сына, а о внуке Энтони практически забыл.

В начале карьеры Адам Пэтч женился на анемичной тридцатилетней даме по имени Алисия Уитерс, которая принесла ему в приданое сто тысяч долларов и обеспечила беспрепятственный доступ в банковские круги Нью-Йорка. Проявив недюжинную отвагу, она в кратчайшие сроки родила сына и, словно обессилив от этого подвига, затерялась в пространстве затененной детской комнаты. Мальчик, названный Адамом Улиссом Пэтчем, стал со временем завсегдатаем клубов, знатоком хорошего тона, лихо управлял запряженными цугом лошадьми и в возрасте двадцати шести лет, ко всеобщему удивлению, начал писать мемуары под названием «Нью-йоркское общество, каким я его видел». Судя по слухам, идея книги представляла интерес, и среди издателей началась борьба за право ее опубликовать. Однако после смерти автора оказалось, что мемуары не в меру многословны и невероятно скучны, а потому их не стали печатать даже частным порядком.

Наш Честерфилд с Пятой авеню в возрасте двадцати двух лет женился на Генриетте Лебрюн, которую называли «контральто бостонского света». Единственный плод этого брака по просьбе деда получил имя Энтони Комсток Пэтч. При поступлении в Гарвардский университет приставка «Комсток» была предана забвению, и с той поры о ней никто не вспоминал.

У молодого Энтони имелась фотография родителей, запечатленных вместе. В детстве она так часто попадалась на глаза, что стала безликим предметом мебели, однако люди, заглядывающие к нему в спальню, рассматривали снимок с интересом. Он изображал красивого подтянутого денди в духе девяностых годов рядом с высокой темноволосой дамой с муфтой и неким намеком на турнюр. Между ними пристроился мальчик с длинными каштановыми локонами, облаченный в бархатный костюмчик а-ля лорд Фаунтлерой. Это был Энтони в пятилетнем возрасте, в год, когда умерла его мать.

О «контральто бостонского света» сохранились смутные воспоминания, наполненные музыкой. Мать все время что-то пела в музыкальной гостиной их дома на Вашингтон-сквер, иногда в окружении гостей. Мужчины со сложенными на груди руками балансировали на краешке дивана, боясь вздохнуть, а женщины время от времени что-то им нашептывали, сопровождая каждую песню аплодисментами и похожими на голубиное воркование возгласами. Гораздо чаще она пела только для Энтони на итальянском или французском языке, а еще на каком-то жутком диалекте, на котором, по ее мнению, говорят негры в южных штатах.

О галантном Улиссе, первом мужчине в Америке, отвернувшем лацканы пиджака, остались гораздо более яркие воспоминания. После того как Генриетта Лебрюн Пэтч «отправилась петь в ином хоре», о чем время от времени упоминал хриплым голосом вдовец, отец с сыном переехали жить к дедушке в Тэrrитаун. Улисс ежедневно навещал Энтони в детской и около

часа произносил приятные для слуха заманчивые речи. Он постоянно обещал взять Энтони на охоту, рыбалку или экскурсию в Атлантик-Сити. «Потерпи немножко, совсем скоро», – заверял Улисс. Однако ни одно из обещаний так и не претворилось в жизнь. Во время их единственного путешествия за границу, в Англию и Швейцарию, когда Энтони было одиннадцать лет, в самом шикарном отеле Люцерна отец умер, обливаясь потом и умоляя о глотке свежего воздуха. Охваченного паническим ужасом и отчаянием Энтони привезли обратно в Америку, и с тех пор смутная меланхолия сопровождала его до конца дней.

Личность героя и его прошлое

В одиннадцатилетнем возрасте он познал ужас смерти. В течение шести запечатлевшихся в памяти лет умерли родители и как-то незаметно угасла бабушка, впервые с момента замужества сделавшись на один день полновластной хозяйкой в собственной гостиной. Жизнь Энтони стала непрерывной борьбой с подстерегающей за каждым углом смертью. У него возникла привычка читать в постели. Чтение успокаивало, хотя и являлось данью мнительности и больному воображению. Он читал до изнеможения и часто засыпал, не выключив света.

До четырнадцати лет любимым развлечением Энтони, которому он отдавался со всей мальчишеской страстью, стало коллекционирование марок. Дедушка по глупости думал, что оно помогает в изучении географии. А Энтони наладил переписку с шестью филателистическими компаниями, и редкий день по почте не приходил новый альбом с марками или пачка глянцевого подписных листов. Бесконечное переключивание драгоценных приобретений из одного альбома в другой превратилось в завораживающее таинство. Марки стали для Энтони самой большой радостью, и он раздраженно хмурился на любого, кто мешал любимой игре. Марки пожирала все карманные деньги, что выдавались на месяц, а их владелец лежал ночами без сна, не устая размышлять о разнообразии и пестром великолепии своих сокровищ.

В шестнадцать лет Энтони полностью замкнулся в себе. Молчаливый парень, совсем непохожий на американца, вззирающий на современников с вежливым недоумением. Два предыдущих года он провел в Европе с домашним учителем, который убедил юношу, что образование надо непременно продолжить в Гарвардском университете. Это впоследствии «откроет все двери», укрепит дух и поможет приобрести огромное количество готовых к самопожертвованию преданных друзей. И Энтони поступил в Гарвард, единственный раз за всю жизнь послушавшись голоса разума.

Не замечая окружающих и ни с кем не общаясь, он жил в одиночестве в роскошной комнате в Бек-холл. Стройный темноволосый юноша среднего роста, с нерешительным нежным ртом. Денег у Энтони было более чем достаточно, и он решил собрать библиотеку, начав с покупки у странствующего библиофила первых изданий Суинберна, Мередита и Харди, а также неразборчивого пожелтевшего письма с автографом Китса; впоследствии обнаружилось, что цену за них заломили заоблачную. Энтони вырос изящным денди с утонченными манерами и обзавелся вызывающей слезу умиления коллекцией шелковых пижам, парчовых халатов и ярких галстуков, слишком вычурных, чтобы появиться в них на людях. Облачившись в оберегаемые от посторонних глаз пышные одежды, он расхаживал в своей комнате перед зеркалом или возлежал на обитом атласом диванчике у окна и смотрел вниз, во двор. Наблюдая царящую за окном шумную суету, Энтони преисполнялся смутным сознанием, что сам он, похоже, никогда не примет в ней участия.

Как ни странно, в последний год обучения обнаружилось, что он завоевал определенный авторитет среди однокурсников. Энтони узнал, что его считают фигурой романтической, эдаким ученым затворником, средоточием образованности и эрудированности. Такое мнение удивило и втайне порадовало. Энтони начал выходить в свет, сначала редко, а потом все чаще. Он участвовал в вечеринках с рождественским пудингом и пил с соблюдением установленных

традиций, не привлекая к себе внимания. Говорили, что не поступи Энтони в колледж в столь юном возрасте, и «диплом с отличием был бы ему обеспечен». В 1909 году, когда ему исполнилось всего двадцать лет, Энтони закончил университет.

Потом он снова отправился за границу, на сей раз в Рим, где поочередно заигрывал с архитектурой и живописью, брал уроки игры на скрипке и написал на итальянском несколько отвратительных сонетов в виде размышлений о радостях созерцания бытия с точки зрения жившего в тринадцатом веке монаха.

Друзьям по Гарварду стало известно, что Энтони в Риме, и кто оказался в тот год в Европе, навещали его и во время многочисленных прогулок лунными ночами вместе открывали для себя город, превосходящий по возрасту не только Возрождение, но и само понятие республики. Например, Мори Ноубл приехал из Филадельфии и провел в компании Энтони два месяца; молодые люди постигали своеобразное очарование римлянок, упиваясь восхитительным чувством свободы и юности в центре цивилизации. Многие знакомые деда тоже навещали Энтони, и при желании он мог бы стать персоной грата в дипломатических кругах. Юноша и сам заметил, что тяга к веселой компании и пирушкам растет с каждым днем, однако его поведение по-прежнему определяли давняя подростковая замкнутость и появившаяся вследствие нее робость.

В 1912 году из-за внезапной болезни деда Энтони вернулся в Америку и после утомительной беседы с неизменно выздоравливающим стариком решил отказаться от мысли навсегда перебраться в Европу до его смерти. После долгих поисков он снял квартиру на Пятьдесят второй улице и успокоился, по крайней мере в глазах окружающих.

В 1913 году процесс приспособления Энтони Пэтча к окружающему миру находился в завершающей стадии. По сравнению со студенческими годами он заметно похорошел: сохраняя несколько излишнюю худощавость, стал шире в плечах, а смуглое лицо утратило испуганное выражение, характерное для студента-первокурсника. Он отличался внутренней собранностью, одевался с безукоризненным вкусом, и приятели утверждали, что ни разу не застали его со взъерошенными волосами. Нос у Энтони был резко очерченным и слишком острым, а рот представлял собой предательское зеркало, отражающее малейшую перемену настроения. В минуты уныния уголки губ тут же опускались вниз. Зато голубые глаза неизменно поражали красотой, светились ли живым умом или выражали меланхоличную иронию, когда их обладатель смотрел на мир из-под полуопущенных век.

Энтони не мог похвастаться симметричными чертами лица, которые лежат в основе арийского идеала красоты, и тем не менее многие находили его красивым. К тому же юношу отличала исключительная внешняя опрятность, полностью соответствующая внутреннему содержанию, особая чистота, что является спутницей истинной красоты.

Безупречное жилище

Пятая и Шестая авеню казались Энтони гигантской лестницей, простирающейся от Вашингтон-сквер до Центрального парка. Поездки на крыше автобуса в направлении Пятьдесят второй улицы неизменно вызвали ощущение, будто он карабкается по ненадежным, коварным перекладинам, цепляясь за них руками, и когда автобус подъезжал к нужной остановке, он испытывал некоторое облегчение, спустившись на тротуар по непродуманно крутым металлическим ступенькам.

Теперь оставалось пройти полквартиры по Пятьдесят второй, мимо вереницы массивных домов из бурого песчаника, и вот он уже под высокими сводами своей замечательной во всех отношениях гостиной. Настоящая жизнь для Энтони начиналась именно здесь. Тут он спал, завтракал, читал книги и предавался развлечениям.

Дом представлял собой мрачный особняк, построенный в конце 1890-х годов. Принимая во внимание растущий спрос на небольшие квартиры, все этажи перестроили и сдавали внаем частями. Из четырех квартир, расположенных на втором этаже, жилище Энтони было самым завидным.

В гостиной с высокими потолками имелось три больших окна с прекрасным видом на Пятьдесят вторую улицу. Обстановка благополучно избежала претензий на принадлежность к какой-либо определенной эпохе. Благодаря идеально соблюденному чувству меры комната не выглядела излишне загроможденной или не в меру аскетической и не несла на себе печати декадентства. Здесь не пахло ни дымом, ни благовониями – обычное просторное жилище с легким налетом грусти. Из мебели был овеванный дремотной дымкой диван с обивкой из мягчайшей коричневой кожи и высокая китайская ширма, которую украшала черная с золотом роспись с геометрическими фигурками рыбаков и охотников. Она отгораживала нишу, где находилось массивное кресло; рядом, словно в карауле, стоял оранжевый торшер. На задней стенке камина виднелся разделенный на четыре части, обгоревший до черноты неизвестный герб.

Пройдя через столовую, носившую это название чисто символически, так как хозяин здесь только завтракал, выходишь в довольно длинный коридор, а оттуда попадаешь в самое сокровенное место квартиры – спальню Энтони и ванную комнату.

Обе они необъятных размеров. Под высокими сводами спальни даже огромная кровать под балдахином выглядела не слишком внушительно. На полу красовался мягкий, как руно, ласкающий босые ноги причудливый ковер малинового бархата. В отличие от несколько мрачноватой спальни ванная, больше похожая на жилую комнату, имела жизнерадостный и исключительно уютный вид с легким налетом шаловливости. На стенах висели фотографии в рамках с изображением четырех именитых актрис, общепризнанных красавиц того времени. Джулия Сэндерсон в «Жизнерадостной девчонке», Инна Клер в роли юной квакерши, Билли Берк в образе девушки-хористки и Хейзл Дон в «Даме в розовом». Между Билли Берк и Хейзл Дон поместилась репродукция: бескрайние просторы, занесенные снегом, над которыми светит огромное неприветливое солнце. По утверждению Энтони, картина символизировала холодный душ.

Огромная низкая ванна была снабжена затейливой подставкой для книг. Рядом с ней стенной шкаф ломился от одежды – хватило бы на троих человек – и внушительной коллекции галстуков. Вместо традиционного убогого коврика, больше похожего на полотенце, пол ванной комнаты украшал роскошный ковер, не хуже того, что в спальне. Казалось, пушистое чудо нежно массирует ноги, извлеченные из воды.

Словом, место для священных ритуалов. Сразу видно, что Энтони здесь одевается, укладывает в безупречную прическу волосы, а также занимается другими делами, не считая сна и приема пищи. Ванная комната являлась предметом гордости, и он точно знал, что если обзаведется возлюбленной, то повесит ее портрет лицом к самой ванне, дабы, затерявшись в успокоительных клубах горячего пара, без помех созерцать предмет своей любви, предаваясь нежным и чувственным мечтам о красоте избранницы.

Без суеты

За порядком в квартире следил слуга-англичанин, носивший фамилию Баундс, которая до странности ему подходила, что даже выглядело несколько ненатуральным. Единственный недостаток этого истинного мастера своего дела состоял в том, что он носил мягкие воротнички. Принадлежи слуга одному Энтони, и подобный дефект сумели бы быстро устранить, но он работал «Баундсом» еще у двух джентльменов, живших по соседству. Ежедневно с восьми до одиннадцати утра Баундс находился всецело в распоряжении Энтони. Он приносил почту

и готовил завтрак, а в половине десятого дергал за край одеяла, которым укрывался Энтони, и произносил несколько коротких слов. Энтони никак не мог вспомнить, что это за слова, но подозревал, что в них звучит осуждение. Затем слуга подавал завтрак на карточном столе в гостиной, застилал кровать и, поинтересовавшись неприязненным тоном, не надо ли чего еще, удалялся восвояси.

Не реже одного раза в неделю Энтони навещал утром своего брокера. С денег, доставшихся в наследство от матери, он получал годовой доход немногим меньше семи тысяч. Дедушка, который и собственному сыну не позволял выходить за рамки весьма щедрого пособия, считал, что этой суммы для молодого Энтони вполне достаточно. Каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую тот, как правило, продавал, так как всегда испытывал нужду в деньгах, хоть и не слишком остро.

Во время визитов к брокеру темы разговоров менялись от обычной светской болтовни до обсуждения надежности вложений под восемь процентов, неизменно доставляя Энтони огромное удовольствие. Внушительное здание трастовой компании, казалось, обеспечивало надежную связь с несметными богатствами и их владельцами, чью сплоченность и чувство взаимовыручки он так чтит, и служило гарантией, что финансовый мир позаботится о достойном месте для Энтони. Эти вечно спешащие люди внушали то самое чувство надежности и защищенности, что неизменно возникало при размышлении о дедовских капиталах. Только оно было еще сильнее, так как деньги деда представлялись Энтони некой ссудой до востребования, которую общество выдало Адаму Пэтчу за его добродетельность, тогда как здешние капиталы скорее являлись захваченной добычей и удерживались ценой невероятных усилий воли и несгибаемого упорства. Кроме того, они виделись более определенно и четко как непосредственно деньги.

Хотя Энтони зачастую наступал на пятки своим доходам, он считал получаемое содержание вполне приличным. Разумеется, в один поистине прекрасный день он станет обладателем многомиллионного состояния, а пока находил оправдание своему существованию, строя планы написать ряд очерков о римских папах эпохи Ренессанса. Этот факт и заставляет вернуться к разговору с дедом, состоявшемуся сразу по приезде Энтони из Рима.

В душе он лелеял надежду не застать дедушку в живых, однако, позвонив прямо с пристани, обнаружил, что Адам Пэтч пребывает в относительно добром здравии, и на следующий день, скрывая разочарование, отправился в Тэрритаун. Такси отошло от вокзала и, проехав пять миль, оказалось на ухоженной подъездной аллее, проложенной в настоящем лабиринте из высоких стен и проволочных ограждений, защищающих дедовские владения. Поговаривали, если вдруг социалисты одержат верх, первым человеком, с которым они расправятся, вне всякого сомнения, станет престарелый Брюзга Пэтч.

Энтони опоздал, и почтенный филантроп, поджидая его на застекленной террасе, уже во второй раз просматривал утренние газеты.

Секретарь деда Эдвард Шаттлуорт до духовного возрождения слыл заядлым игроком, владел питейным заведением, вел распутную жизнь и вообще считался отпетым мерзавцем. Он и проводил Энтони в комнату, демонстрируя своего благодетеля и спасителя, словно тот являл собой бесценное сокровище.

Дед и внук степенно пожали друг другу руки.

– Рад, что ваше здоровье заметно улучшилось, – начал разговор Энтони.

Старший Пэтч извлек из кармана часы и, будто не видел внука всего неделю, с сочувственным видом осведомился:

– Что, поезд опоздал?

Необязательность Энтони вызывала досаду. Старик не только пребывал в стойком заблуждении, что с ранней молодости соблюдает исключительную пунктуальность в делах и

на все встречи является в точно указанный срок, но и считал это главной причиной своего успеха в жизни.

– В этом месяце он то и дело опаздывает, – заметил старший Пэтч с легкой тенью упрека в голосе и, тяжело вздохнув, предложил внуку сесть.

Энтони изучал деда в молчаливом изумлении, которое испытывал всякий раз при виде его персоны. Никак не верилось, что этот тщедушный недалекий старик наделен огромной властью и вопреки заявлениям желтой прессы во всей стране вряд ли найдется достаточное количество людей, души которых он не смог бы купить тем или иным способом, чтобы их хватило на заселение небольшого пригорода Нью-Йорка Уайт-Плейнс. А уж представить, что он когда-то был розовощеким младенцем, и вовсе казалось невозможным.

Вся семидесятипятилетняя жизнь Адама Пэтча напоминала работу сказочных кузнечных мехов. В течение ее первой четверти в Адама вдувались жизненные силы, а последняя – высасывала их обратно. Она сделала впалыми щеки и грудь, иссушила руки и ноги, отняла один за другим зубы, окружила маленькие глазки дряблыми сизыми мешками и проредила волосы. Серый цвет стал белым, а розовый пожелтел, все краски смешались, будто коробка, где их хранили, попала в руки неразумного дитя. Завладев душой и телом, старость атаковала мозг, посылая по ночам беспричинные страхи, слезы и холодный пот. Исключительная практичность раскололась, перерождаясь в легковерие и подозрительность. Зиждущийся на трезвом расчете энтузиазм распался на десятки мелких, но вздорных навязчивых идей, неумная энергия съежилась до нелепых капризов избалованного ребенка, а на смену жажде власти пришло глупое ребяческое желание создать на земле рай с песнопениями под аккомпанемент арф.

После сдержанного обмена любезностями Энтони понял, что от него ждут четкого изложения дальнейших намерений, однако промелькнувший в старческих глазах тусклый огонек вовремя подсказал: упоминать о желании поселиться за границей пока не стоит. Энтони очень хотелось, чтобы ненавистный Шаттлуорт проявил присущую воспитанным людям тактичность и покинул комнату. Однако секретарь, напустив на себя угодливый вид, надежно обосновался в кресле-качалке и время от времени переводил взгляд выцветших глазок со старшего Пэтча на младшего.

– Ну, раз ты вернулся, следует чем-нибудь заняться, – проникновенным голосом начал дед. – Добиться определенных результатов.

Энтони ждал, что он закончит вступление словами «оставить после себя что-то значительное», и решил высказать собственное мнение:

– Я вот подумал... Пожалуй, лучше всего мне подойдет писательская деятельность.

Адам Пэтч поморщился, представив среди членов семьи длинноволосого поэта в компании трех любовниц.

– Попробую писать очерки на исторические темы, – закончил свою мысль Энтони.

– Значит, тебя интересует история? Но чего именно? Гражданской войны или Войны за независимость?

– Да нет же, сэр. Речь об истории Средних веков. – В этот момент Энтони посетила идея осветить историю папства эпохи Возрождения, представив ее в совершенно новом свете. И все же он был доволен, что упомянул Средние века.

– Средние века? – переспросил дед. – А почему не написать о своей стране? О том, что хорошо знаешь?

– Видите ли, я так долго жил за границей...

– Не понимаю, с чего ты решил писать о Средних веках. Мы называли их «Мрачными временами». Никто не знает, что тогда творилось, да никому и не интересно. Они остались в далеком прошлом, вот и все. – В течение нескольких минут дед пространно рассуждал о бесполезности подобных сведений, упомянув, разумеется, испанскую инквизицию и «поразивший монастыри порок». После чего поинтересовался: – Как думаешь, ты способен заняться каким-

нибудь делом в Нью-Йорке и намерен ли вообще работать? – В последних словах прозвучала тонкая, едва уловимая издевка.

– Разумеется, намерен, сэр.

– Ну и когда же сподобишься?

– Понимаете, нужно набросать план и многое прочесть, прежде чем приступить к работе.

– Полагаю, это уже давно следовало сделать.

Беседа исчерпала себя и резко оборвалась. Энтони поднялся с места и, взглянув на часы, сообщил, что после обеда должен встретиться со своим брокером. Он собирался провести у деда несколько дней, но утомился от вызывающей раздражение корабельной качки и не желал терпеть завуалированные, полные ханжеского лицемерия упреки и нападки. Перед уходом Энтони пообещал вскоре заглянуть.

Тем не менее именно благодаря этому разговору мысль о работе прочно засела у него в голове и стала частью жизни. За год, прошедший после разговора с дедом, он составил несколько списков авторитетных источников, пробовал придумать названия глав и делил свой труд по периодам, однако ни одной строчки готового текста так и не появилось, и не было даже намека, что когда-нибудь это событие произойдет. Энтони предавался безделью и вопреки общепризнанной логике умудрялся при этом в полной мере вкушать радости жизни.

После полудня

Шел октябрь 1913 года, самая середина выдавшейся недели погожих дней, когда солнечные лучи празднично скользят по поперечным улицам и все вокруг наполнено ленивой истомой, которую оживляет лишь призрачный танец падающих листьев. Было приятно сидеть в праздничности у открытого окна, дочитывая главу из «Едгина» Сэмюэля Батлера. Около пяти часов Энтони, сладко зевнув, небрежно бросил книгу на стол и не спеша прошествовал по коридору в ванную. «К тебе, красавица, я обращаю взор, – напевал он, отворачивая кран. – Услышь же сердца бедного укор».

Он запел громче, состязаясь с шумом льющейся в ванну воды, и, глянув на фотографию Хейзл Дон на стене, прижал к плечу воображаемую скрипку и нежно тронул струны несуществующим смычком. Не разжимая губ, Энтони издавал жужжащие звуки, которые в его представлении напоминали пение скрипки. В следующее мгновение он прекратил манипуляции с инструментом и принялся расстегивать пуговицы на рубашке. Сняв с себя одежду, Энтони стал в позу облаченного в тигровую шкуру атлета с рекламного плаката и с явным удовлетворением разглядывал себя в зеркале. Прервав это занятие, он поболтал ногой, пробуя воду, отрегулировал кран и с предвещающим грядущее удовольствие урчанием нырнул в ванну.

Привыкнув к температуре воды, он впал в состояние сладкой дремы. После принятия ванны Энтони не спеша оденется и прогуляется по Пятой авеню до отеля «Ритц», где договорился поужинать с двумя наиболее близкими приятелями Диком Кэрамелом и Мори Ноублом. Потом они с Мори намеревались отправиться в театр, а Кэрамел, вероятно, поспешит домой, чтобы продолжить работу над книгой, которую нужно закончить как можно скорее.

Энтони тихо радовался, что он-то трудиться над своей книгой не собирается. Необходимость корпеть не только над словами, выражающими мысли, но и над мыслями, которые стоят того, чтобы их облачили в слова, никоим образом не совпадала с его желаниями.

Выбравшись из ванны, он принялся наводить лоск с дотошностью заправского чистильщика обуви. Затем прошествовал в спальню, насвистывая причудливую мелодию, походил взад-вперед, застегивая пуговицы, поправляя костюм и наслаждаясь теплом пушистого ковра под ногами.

Энтони зажег сигарету, выбросил спичку в открытую фрамугу и вдруг замер на месте, не донеся ее до открывшегося в изумлении рта. Взгляд приковало яркое пятно на крыше одного из домов, расположенных дальше по переулку.

Это была девушка в красном, разумеется, шелковом пеньюаре, которая сушила волосы под все еще жарким солнцем клонившегося к вечеру дня. Свист оборвался и умолк в душном воздухе комнаты. Энтони сделал осторожный шаг к окну, проникнувшись внезапным сознанием, что девушка прекрасна. Она сидела на каменном парапете, облокотившись на подушку того же цвета, что и пеньюар, и смотрела вниз, на залитую солнцем улицу, откуда до слуха Энтони доносились крики играющих детей.

Несколько минут он наблюдал за девушкой. В душе что-то всколыхнулось, но теплый аромат угасающего дня и победоносная яркость красного цвета были тут ни при чем. Энтони не покидало чувство, что девушка красива, и вдруг его осенило, что все дело в расстоянии, не в редкой драгоценной отдаленности душ, а в нескольких ярдах обычного земного пространства. Их разделял осенний воздух, крыши домов и приглушенные голоса. И все же на какое-то непостижимое мгновение, вопреки всем законам зависшее во времени, он испытал чувство, гораздо более близкое к обожанию, чем при самом горячем поцелуе.

Завершив туалет, он отыскал черный галстук-бабочку и аккуратно надел его перед трельяжем в ванной. Поддавшись порыву, Энтони вернулся в спальню и снова посмотрел в окно. Теперь женщина выпрямилась, откинув назад волосы, и он мог хорошо ее рассмотреть. Она оказалась толстухой старше тридцати пяти, с самой заурядной внешностью. Прицелкнув языком, Энтони вернулся в спальню и принялся расчесывать волосы на пробор. «К тебе, красавица, я обращаю взор», – беззаботно напевал он.

Завершающее прикосновение щетки придало волосам безупречный переливчатый глянец, после чего Энтони вышел из ванной, а затем и из квартиры, и направился вдоль по Пятой авеню к отелю «Ритц-Карлтон».

Трое мужчин

В семь часов Энтони с другом Мори Ноублом сидят за угловым столиком на прохладной крыше. Мори Ноубл поразительно похож на большого, полного изящной импозантности кота. Прищуренные глаза светятся расходящимися в разные стороны лучиками, волосы прямые и гладкие, словно, буде такое возможно, его облизала исполинская мама-кошка. Во время учебы Энтони в Гарварде Мори считался самой выдающейся фигурой на курсе, самым блистательным, оригинальным, умным и выдержанным студентом, причисленным к разряду избранных.

Этого человека Энтони считает лучшим другом. Из всех знакомых Мори единственный, кем он восхищается и кому втайне завидует, хотя ни за что в этом не признается.

Они рады встрече, глаза светятся добротой, и каждый в полной мере ощущает эффект новизны после недолгой разлуки. В обществе друг друга они черпают безмятежное умиротворение. Мори Ноубл скрывает чувства за вальяжными манерами и непроницаемой, до невероятности похожей на кошачью физиономией и, кажется, вот-вот замурлычет, а нервный и непостоянный, будто блуждающий огонек, Энтони сейчас спокоен.

Они увлечены легкой светской беседой, от которой получают удовольствие только мужчины до тридцати лет или мужчины в состоянии сильного волнения.

Э н т о н и (*с нетерпением*). Семь часов. Куда подевался Кэрамел? Скорей бы завершил свой нескончаемый роман. Умираю от голода...

М о р и. Он придумал новое название – «Демонический любовник». Недурно, а?

Э н т о н и (*заинтересованно*). «Демонический любовник»? Ну как же, дамы обольются слезами. Нет, вполне сносно! Очень даже неплохо! Что скажешь?

М о р и. Приемлемо. Так который, говоришь, час?

Э н т о н и. Семь.

М о р и (*щурится, но без раздражения, просто чтобы выразить легкое неодобрение*). На днях довел меня до бешенства.

Э н т о н и. Каким образом?

М о р и. Да своей привычкой все записывать.

Э н т о н и. Со мной та же история. Прошлым вечером я что-то сказал, а он усмотрел в моих словах глубокий смысл, но забыл суть, вот и привязался. Говорит: «Неужели не можешь сосредоточиться и вспомнить?» А я ему: «Ты наводишь на меня тоску. С какой стати я должен держать в голове всякую ерунду?»

Мори беззвучно смеется, лицо расплывается в вежливую понимающую ухмылку.

М о р и. Дик видит не больше остальных, но умеет записать основную часть увиденного.

Э н т о н и. Ничего не скажешь, впечатляющий талант...

М о р и. Да уж, впечатляет!

Э н т о н и. А его энергия, честолюбивые помыслы движутся целенаправленно. Он такой занятный, страшно будоражит и увлекает людей. Иногда рядом с ним просто дух захватывает.

М о р и. О да.

После короткого молчания разговор возобновляется.

Э н т о н и (*его худое нерешительное лицо выражает глубокую убежденность*). Только нет у него неукротимой энергии, и настанет день, когда она вся иссякнет, а вместе с ней пропадет и «впечатляющий талант», а останется только осколок человека, сварливый самовлюбленный болтун.

М о р и (*смеется*). Вот мы тут пытаемся убедить друг друга, что малыш Дик в отличие от нас не вникает столь глубоко в суть вещей, но бьюсь об заклад – он со своей стороны чувствует некоторое превосходство творческого ума над умом критическим, ну и все такое прочее.

Э н т о н и. Разумеется. Но он ошибается. Он склонен разбрасываться на множество глупых увлечений. Не погрузись он в реализм, в результате чего приходится рядиться в одежды циника, поддался бы такому же легковерию, как религиозный лидер в колледже. Он ведь на самом деле идеалист, хотя думает иначе, потому что отвергает христианство. Помнишь его в колледже? Проглатывал книги всех писателей, одну за другой, легко и без разбора, заимствуя идеи, писательские приемы и персонажей. Честертон, Шоу, Уэллс.

М о р и (*обдумывая свое последнее наблюдение*). Помню.

Э н т о н и. Ведь это правда. По своей природе фетишист, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Возьмем, к примеру, искусство...

М о р и. Давай-ка что-нибудь закажем. Он скоро...

Э н т о н и. Да, конечно. Закажем. Я ему говорил...

М о р и. А вот и он. Сейчас столкнется с официантом. (*Мори поднимает палец, подзывая официанта, и палец у него похож на добродушный и ласковый кошачий коготь.*) Наконец-то, Кэрамел.

Н о в ы й г о л о с (*с энтузиазмом*). Привет, Мори. Привет, Энтони Комсток Пэтч. Сколько лет внуку Адама? Молоденькие дебютантки по-прежнему бегают за тобой толпами, а?

Р и ч а р д К э р а м е л – невысокий блондин, из породы тех, кто лысеет к тридцати пяти годам. У него желтоватые глаза: один – поразительно ясный, а другой – мутноватый, наподобие грязной лужицы, и выпуклый лоб, как у младенца из комиксов. Выпуклости имеются и в иных местах: пророчески выпячивается брюшко, и слова будто выбухают изо рта. Даже карманы смокинга распухли волдырями. Они набиты обтрепанными расписаниями поездов, про-

граммками и прочим бумажным хламом, на котором он делает заметки, сощуриив разные глаза и призывая свободной левой рукой окружающих к тишине.

Подойдя к столику, он здоровается за руку с Энтони и Мори. Кэрамел всегда здоровается за руку, даже если видел людей час назад.

Э н т о н и. Привет, Кэрамел. Рад встрече. Так не хватает чего-нибудь веселенького в нашей печальной жизни.

М о р и. Опаздываешь. Гонялся по всему кварталу за почтальоном? А мы тут перемываем тебе косточки.

Д и к (*сверлит Энтони своим ясным глазом*). Как ты сказал? Повтори, я запишу. Сегодня выкинул из первой части книги три тысячи слов.

М о р и. Благородный эстет. А вот я накачивался спиртным.

Д и к. Кто бы сомневался. Держу пари, вы тут битый час болтаете о выпивке.

Э н т о н и. Мы никогда не напиваемся до беспамяත්ства, мой юный друг.

М о р и. И никогда не приводим домой дам, с которыми познакомились, будучи навеселе.

Э н т о н и. И вообще наши дружеские пирушки носят возвышенный характер.

Д и к. Только глупцы хвастают умением пить! Беда в том, что вы задержались в восемнадцатом веке, следуя примеру старых английских сквайров. Тихо напиваетесь, пока не окажетесь под столом. И никакой радости. Нет, это никуда не годится.

Э н т о н и. Даю голову на отсечение, ты цитируешь главу шестую.

Д и к. Идете в театр?

М о р и. Да, намереваемся посвятить вечер глубоким размышлениям над вопросами жития. Пьеса называется коротко: «Женщина». Полагаю, многообещающее название себя оправдает.

Э н т о н и. О Господи! Неужели так и называется? Давай лучше снова сходим в варьете.

М о р и. Надоело. Я видел их представление три раза. (*Обращается к Дик*.) В первый раз мы вышли в антракте и отыскивали изумительный бар, а когда вернулись в зал, оказалось, что попали в другой театр.

Э н т о н и. И долго пререкались с перепуганной молодой парой. Решили, что они заняли наши места.

Д и к (*якобы разговаривая сам с собой*). Думаю написать еще один роман и пьесу или сборник рассказов, а потом займусь музыкальной комедией.

М о р и. Представляю. С заумными куплетами, которые никто не станет слушать. А критики примутся ворчать и охать, вспоминая старый добрый «Крейсер “Пинафор”»¹. А я так и буду блистать бессмысленной фигурой в лишенном всякого смысла мире.

Д и к (*напыщенно*). Искусство не бессмысленно.

М о р и. Само по себе оно именно таковым и является, однако приобретает определенный смысл, если пытается сделать жизнь менее бессмысленной.

Э н т о н и. Иными словами, Дик, ты играешь перед трибуной, заполненной призраками.

М о р и. Как бы там ни было, постарайся, чтобы представление получилось хорошим.

Э н т о н и (*обращаясь к Мори*). А по мне так зачем вообще писать, если мир такой бессмысленный? Сама попытка отыскать там какую-то цель бесполезна.

Д и к. Даже если признать вашу правоту, сделайте милость, оставайтесь благопристойными прагматиками и даруйте бедному человечеству возможность сохранить инстинкт выживания. Но вам-то хочется, чтобы все согласилось с софистической чушью, что вы несете?

Э н т о н и. Именно так.

¹ «Крейсер “Пинафор”» – комическая опера английского композитора Артура Салливана (1842—1900). – *Здесь и далее примеч. пер.*

М о р и. Нет, сэр! Я считаю, что всех жителей Америки, за исключением тысячи избранных, необходимо принудительно приобщить к самой строгой системе моральных ценностей. Например, к римскому католицизму. Я не критикую общепринятую мораль, но выступаю против отступивших от нее посредственностей, которые, опираясь на достижения софистики, принимают позу нравственной свободы, не имея на то ни малейшего права в силу заурядных умственных способностей.

В этот момент на сцене появляется суп, и все, что Мори намеревался изложить, так и остается невысказанным.

Ночь

Затем друзья навели перекупщика билетов и за заоблачную цену приобрели места на новую музыкальную комедию «Бурное веселье». В фойе они задержались на несколько минут, обозревая явившуюся на премьеру толпу. Непрерывным потоком двигались меховые манто и накидки из разноцветных шелков. По рукам, шеям и бело-розовым мочкам ушей струились каплями драгоценные камни, на шелковых шляпках, которым несть числа, мерцали широкие ленты, мелькали туфельки цвета золота и бронзы, красные и лакированные черные. Проплывали высокие, тщательно уложенные, туго стянутые прически дам, лоснились напояженные волосы ухоженных мужчин. Жизнерадостное людское море накатывало волнами, бурлило, пенилось, раздражаясь оживленной болтовней и смехом, отступало и медленно вздымалось вновь, вливая сверкающий поток в сотворенное на сегодняшний вечер самими людьми озеро всеобщего веселья.

После спектакля друзья расстались: Мори намеревался потанцевать у «Шерри», а Энтони отправился домой спать.

Он медленно проталкивался сквозь толпу, наводняющую по вечерам Таймс-сквер, которая благодаря гонкам экипажей и их многочисленным приверженцам выглядела на удивление яркой и красивой, создавая атмосферу карнавала. Вокруг, словно в калейдоскопе, мелькали лица, безобразные, как смертный грех: то слишком жирные, то непомерно тощие, и все же они плыли в осеннем воздухе, будто удерживаемые собственным жарким и страстным дыханием, выплескивающимся в ночь. Энтони подумал, что, несмотря на всю вульгарность, в этих лицах чувствуется едва уловимая, ускользающая тайна. Он осторожно вдыхал аромат духов и не вызывавший неприятных ощущений запах дымивших со всех сторон сигарет. Встретился взглядом с юной темноволосой красавицей, одиноко сидевшей в закрытом такси. В сгущающихся сумерках ее глаза наводили на мысли о ночи и фиалках. На короткое мгновение в душе Энтони всколыхнулось полузабытое воспоминание об оставшемся далеко в прошлом дне.

Мимо прошли два молодых еврея. Они громко разговаривали, вытягивая шеи, и с глупым высокомерием поглядывали по сторонам. Фигуры обтягивали слишком облегающие костюмы, которые еще кое-где считались модными, отложные воротнички со стойкой врезались в кадыки, на ногах красовались серые гетры, а набалдашники трости сжимали руки в серых же перчатках.

Промелькнула пожилая дама, которую, словно корзину с яйцами, тащили под руки двое мужчин, оживленно повествующих о чудесах Таймс-сквер. Они тараторили так быстро, что женщина, желая проявить интерес к рассказу обоих, крутила головой, будто перекатывалась увлекаемая ветром высохшая апельсиновая кожура.

– Мама, вот это Астор!

– Смотри, вот объявление о гонках на экипажах...

– А вот тут мы сегодня были. Да нет же, вон там!

– Боже правый!

– Принимай все близко к сердцу, и высохнешь в щепку, – узнал Энтони популярную в этом году шутку, которую произнес рядом чей-то скрипучий голос.

– А я ему говорю, вот так прямо и говорю...

Мимо с тихим шорохом проезжали такси, слышался несмолкаемый смех, хриплый, как воронье карканье, сливаясь с гулом подземки. И над всем этим царил круговорот огней, которые то становились ярче, то тускнели, разлетаясь жемчужной россыпью, образуя сверкающие круги и полосы, складываясь в уродливые гротескные фигуры, покрывающие небо причудливой резьбой.

С чувством облегчения Энтони свернул в затишье, сквозившее с пересекающей магистраль улицы, миновал булочную, при которой имелся небольшой ресторанчик. В окне виднелся автоматический вертел с дюжиной вращающихся куриных тушек, а из дверей шел аромат горячей выпечки. Следующий дом, где находилась аптека, источал запахи лекарств и пролитой содовой, а к ним примешивалось слабое благоухание от прилавка с косметикой. Потом на пути была душная китайская прачечная с облаками пара, она еще работала и пахла выглаженным бельем и чем-то неуловимо азиатским. Все это произвело на Энтони удручающее впечатление, и, дойдя до Шестой авеню, он заглянул в находившуюся на углу табачную лавку. После ее посещения настроение заметно улучшилось. Окутанная облаками синего дыма табачная лавка настраивала на жизнерадостный и бодрый лад, приглашая потратиться на приятную роскошь.

Добравшись до своей квартиры, Энтони уселся в темноте у открытого окна и выкурил последнюю сигарету. Впервые за прошедший год он почувствовал, что жизнь в Нью-Йорке может быть весьма приятной. Определенно, в этом городе есть редко встречающаяся жгучая, почти южная пряность. И все же порой здесь бывает тоскливо и одиноко. Энтони, выросший в одиночестве, в последнее время научился его избегать, стараясь занять все вечера. Если никакой встречи не намечалось, он спешил в один из клубов в поисках общения. Да, чего-чего, а одиночества здесь хватало...

Сигарета еще тлела в руке, обволакивая белесоватым дымом складки тонких штор, а часы на церкви Святой Анны, что находилась чуть дальше по этой же улице, с раздражительностью элегантной дамы уже пробил час ночи. Из соседнего, погруженного в сон квартала донесся барабанный грохот. Если бы Энтони потрудились выглянуть из окна, то увидел бы вылетевший из-за угла поезд, который, подобно разгневанному орлу, несся в темноте. Энтони пришел на память недавно прочитанный фантастический роман, где города бомбили с летающих по воздуху поездов. На мгновение он представил, что Вашингтон-сквер объявил войну Центральному парку и надвигающаяся с севера угроза несет с собой кровавые сражения и сеет смерть. Но поезд умчался вдаль, разрушая иллюзию. Барабаны грохотали все тише, а потом некоторое время слышался только клекот улетающего орла.

С Пятой авеню доносились звон колокольчиков и приглушенное гудение автомобильных рожков, но на его улице стояла тишина, и Энтони чувствовал себя защищенным от всех опасностей, которые таит жизнь. Вот дверь его квартиры, длинный коридор и главный защитник – спальня. И никакой опасности! Причин для страха нет! Падающий в окно свет фонаря в этот час похож на лунное сияние, только еще ярче и прекраснее.

В раю. Взгляд в прошлое

Красота, рождающаяся раз в сто лет, сидела в некоем подобии находящейся под открытым небом приемной, сквозь которую проносились порывы прозрачного ветерка и время от времени пролетала запыхавшаяся звезда. Звезды заговорщически подмигивали Красоте, а ветер без усталости трепал волосы. Она была непостижимой, так как ее душа и натура составляли единое целое и красота тела выражала сущность души. Философы на протяжении многих столетий

стремятся отыскать такое единство. А она сидела в этом зале ожидания среди ветров и звезд уже сто лет, в мире и покое занимаясь самосозерцанием.

Наконец Красота узнала, что ей предстоит родиться заново. Вздохнув, она завела долгую беседу с неким Голосом, который принес непорочный ветер. Их разговор продолжался много часов, и здесь я намерен привести лишь короткий отрывок.

К р а с о т а (*едва заметно шевеля губами, ее взор, как обычно, устремлен в себя*). Куда мне предстоит отправиться теперь?

Г о л о с. В незнакомую страну, которую ты прежде не видала.

К р а с о т а (*недовольным тоном*). Ненавижу врываться в неизвестные цивилизации. И сколько же времени предстоит провести там на сей раз?

Г о л о с. Пятнадцать лет.

К р а с о т а. Как называется это место?

Г о л о с. Самая богатая и прекрасная страна в мире, край, где мудрейшие немногим умнее последних глупцов, земля, в которой разум правителей невинен, как у младенцев, а законодатели верят в Санта-Клауса, где уродливые женщины властвуют над сильными мужчинами.

К р а с о т а (*в изумлении*). Как ты сказал?

Г о л о с (*удрученно*). Воистину печальное зрелище. Женщины с безобразными срезанными подбородками и бесформенными, как лепешка, носами расхаживают среди бела дня и командуют: «Делай то! Делай это!» И все мужчины, даже самые богатые, покорно подчиняются воле своих женщин, к которым высокопарно обращаются не иначе как «миссис такая-то» или «моя супруга».

К р а с о т а. Не может быть! Разумеется, я могу понять, когда идет речь о покорности прелестным женщинам. Но толстухи или уродливые худышки? Неужели подчиняются даже женщинам с морщинистыми впалыми щеками?

Г о л о с. Именно так.

К р а с о т а. А как же я? Что меня там ждет?

Г о л о с. Путь предстоит нелегкий, если уместно так выразиться.

К р а с о т а (*выдержав паузу, разочарованно*). Почему не отправить меня в знакомые страны, в края, где растет виноград и живут мужчины, умеющие произносить сладкие речи? Или туда, где море и множество кораблей?

Г о л о с. Предполагается, что в скором времени их ждут иные дела.

К р а с о т а. Ах, как жаль!

Г о л о с. Твое пребывание на земле, как всегда, станет паузой между двумя чрезвычайно важными событиями, отраженными в зеркале мироздания.

К р а с о т а. Скажи, а кем я буду?

Г о л о с. Поначалу предполагалось, что ты явишься киноактрисой, но потом это оказалось нецелесообразным. Последующие пятнадцать лет ты проживешь под маской так называемой девушки из общества.

К р а с о т а. А что это значит?

Здесь к пению ветра примешивается новый звук, наводящий на мысль, что Голос решил почесать голову.

Г о л о с (*после длительной паузы*). Ну, нечто вроде липовой аристократки.

К р а с о т а. Липовой? Что это значит?

Г о л о с. И это тебе предстоит узнать в стране, куда вскоре отправишься. Там найдется много чего липового. Кстати, и к твоим поступкам и всему поведению тоже подойдет это слово.

К р а с о т а (*с безмятежным видом*). Как вульгарно.

Г о л о с. На самом деле все еще гораздо вульгарнее. В эти пятнадцать лет ты прославишься как «дитя рэгтайма», «эмансипе», «джаз-беби» и «беби-вамп» и исполнишь новые танцы не менее грациозно, чем танцевала старье.

К р а с о т а (*шепотом*). А мне заплатят?

Г о л о с. Да, как всегда – любовью.

К р а с о т а (*с легким смешком, от которого едва заметно шевельнулись губы*). Мне понравится называться «джаз-беби»?

Г о л о с (*рассудительно*). Очень понравится...

Здесь разговор обрывается. Красота по-прежнему сидит неподвижно, звезды замирают в благоговейном восторге, а прозрачный и чистый порывистый ветер треплет ей волосы.

Диалог, приведенный выше, состоялся за семь лет до дня, в который Энтони, сидя у окна в своей квартире, будет прислушиваться к колокольному перезвону на церкви Святой Анны.

Глава вторая

Портрет сирены

Месяц спустя на Нью-Йорк опустились бодрящие холода, а вместе с ними пришел ноябрь, который принес три ответственных футбольных матча и изобилие мехов, колышущихся бескрайним потоком по Пятой авеню. С наступлением заморозков город охватило чувство напряженности и сдержанного возбуждения. Теперь каждое утро Энтони получал по почте приглашения. Три дюжины целомудренных представительниц женского пола из высшего слоя общества заявляли если не о явном желании, то по крайней мере о способности родить детей трем дюжинам миллионеров. Пять дюжин добродетельных девиц из следующего, более низкого слоя отважно сообщали не только о своей пригодности, но и о серьезных притязаниях в отношении вышеупомянутых трех дюжин молодых людей и, разумеется, приглашали на все девяносто шесть званых вечеров. Как и друзей семейств, из которых происходили юные дамы, а также знакомых, приятелей по колледжу и жаждущих попытать счастья рьяных юношей со стороны. Существовал и третий слой, обитающий на городских окраинах, Ньюарка и других городов Нью-Джерси до сурового Коннектикута, но не имеющий никаких шансов в районе Лонг-Айленда. Были и слои, расположившиеся еще ниже, у самого городского дна: от Риверсайда до Бронкса еврейских невест выводили в иудейское общество в предвкушении встречи с подающим надежды молодым брокером или ювелиром с последующим кошерным бракосочетанием. Ирландские девицы на выданье, получив наконец официальное разрешение, бросали взгляды на молодых политиков из Таммани-холла, благочестивых предпринимателей и повзрослевших мальчиков из церковного хора.

Как и следовало ожидать, весь город заразился атмосферой ожидания и надежды. И девушки из рабочей среды, бедные дурнушки, упаковывающие мыло на фабриках или демонстрирующие наряды и украшения в крупных магазинах, мечтали обрести в царившей той зимой кутерьме, от которой захватывало дух, своего вождя, своего мужчину. Так неумелый вор-карманник тешит себя надеждой, что в карнавальное время его шансы на успех возрастают. И задымили трубы, и выросли новые слои грязи от подземки. Актрисы играли в новых пьесах, издатели напечатали новые книги, а Айрин и Вернон Каслы выступили с новыми танцами. Железные дороги выпустили новые расписания поездов с новыми ошибками вместо старых, к которым обладатели сезонных билетов уже успели привыкнуть.

Весь город выходил в свет!

Однажды, прогуливаясь под серо-стальным небом Сорок второй улицы, Энтони неожиданно столкнулся с Ричардом Кэрамелом, который вышел из парикмахерской отеля «Манхэттен». Стоял первый по-настоящему холодный день, и Кэрамел был одет в отороченное овчиной пальто до колен, какие с давних пор носит рабочий люд на Среднем Западе и которые только что начали входить в моду. Из-под полей мягкой шляпы сдержанного темно-коричневого цвета горел, подобно топазу, ясный глаз. Кэрамел радостно бросился к Энтони и принялся хлопать того по плечам скорее из желания согреться, а не ради шалости. После непрямого рукопожатия Дик разразился речью:

– Чертовски холодно. Весь день трудился как проклятый, пока комната совсем не выстудилась, и я испугался, что заработаю пневмонию. Окаянная домохозяйка экономит на угле и появилась только после того, как я полчаса орал на лестнице. Принялась оправдываться, что да как. Господи! Поначалу она меня взбесила, а потом вдруг пришло в голову, что из нее получится яркий персонаж, вот и начал делать заметки, пока старуха разглагольствовала. Так, чтобы не заметила, будто я просто что-то записываю.

Он схватил Энтони под руку и потащил по Мэдисон-авеню.

– Куда это мы идем?

– Да так, никуда, просто прогуливаемся.

– Что толку в такой прогулке? – удивился Энтони.

Они остановились, глядя друг на друга в упор, и Энтони вдруг представил, что, вполне вероятно, от холода его лицо стало таким же отталкивающим, как у Дика Кэрамела. Нос у приятеля сделался малиновым, выпуклый лоб посинел, а разные глаза покраснели и слезились. Постояв мгновение, друзья двинулись дальше.

– Замечательно поработал над романом, – с многозначительным видом сообщил Дик, глядя себе под ноги. – Но надо иногда выходить на люди. – Он бросил на Энтони извиняющийся взгляд, словно ища поддержки. – Мне необходимо выговориться. Полагаю, очень мало людей, способных по-настоящему думать о серьезных вещах. То есть сесть и погрузиться в размышления, в результате чего рождаются идеи. Мне лучше всего думается, когда я пишу или разговариваю. Главное – начать что-нибудь отстаивать или возражать и спорить... как считаешь?

Энтони что-то невнятно буркнул, осторожно высвобождая руку.

– Тебя, Дик, я еще могу на себе тащить, но что до пальто...

– Хочу сказать, – с серьезным видом продолжал Ричард Кэрамел, – что на бумаге уже в первом абзаце рождается мысль, которую ты собираешься отбросить в сторону или же развить дальше. В разговоре в твоём распоряжении последнее высказывание собеседника... когда же просто размышляешь, идеи следуют чередой одна за другой, как картинки в волшебном фонаре, где каждая последующая вытесняет предыдущую.

Друзья миновали Сорок пятую улицу, чуть замедлили шаг и закурили, выдыхая огромные облака дыма и пара.

– Давай зайдем в «Плазу» и выпьем по эггногу, – предложил Энтони. – Тебе пойдет на пользу. Свежий воздух выгонит вредоносный никотин из легких. Ну что, согласен? А по дороге можешь рассказывать о своей книге.

– Не хочу, если это наводит на тебя скуку. То есть нет нужды делать мне одолжение. – Слова торопливо выскакивали одно за другим, и несмотря на старания придать лицу безразличное выражение, оно обиженно сморщилось.

– Наводит скуку? Да что ты! Вовсе нет! – вынужденно запротестовал Энтони.

– У меня есть кузина, – начал Дик, но Энтони не дослушал и, широко расставив руки, с ликованием воскликнул:

– Изумительная погода, верно? Заставляет чувствовать себя десятилетним мальчишкой. То есть именно такие ощущения следовало бы испытывать в десять лет. Сногшибательно! О Господи! Вот я властвую над миром, а в следующее мгновение играю в нем роль шута. Сегодня мир принадлежит мне, и все так легко, так легко. Даже Пустота!

– У меня кузина живет в отеле «Плаза». Прелестная девушка, пользуется популярностью в обществе. Можем зайти. Она проводит здесь зиму вместе с родителями. Во всяком случае, в последнее время...

– Не знал, что у тебя появились кузины в Нью-Йорке.

– Ее зовут Глория. Она из Канзас-Сити. Матушка – практикующая билфистка², а отец несколько туповат, зато истинный джентльмен.

– Что они собой представляют? Подходящий литературный материал?

– Во всяком случае, стараются. А папаша то и дело твердит, что недавно встретил потрясающий персонаж для романа. Потом примется рассказывать о каком-то придурковатом приятеле и непременно закончит словами: «Вот настоящий герой, словно для тебя создан! Почему его не описать? Всем будет интересно». Или начнет распространяться о Японии, Париже или

² Билфизм – одно из оккультных течений, популярных в начале XX века.

другом всем известном месте, а при этом приговаривает: «А написал бы ты об этом месте? Так и просится в роман или рассказ!»

– А девушка? – небрежно поинтересовался Энтони. – Глория... Глория, как ее там?

– Гилберт. Да ты о ней слышал. Глория Гилберт. Посещает вечера танцев в колледжах.

В общем, девушка известная.

– Слышал это имя.

– Симпатичная. По правде сказать, чертовски хорошенькая.

Они дошли до Пятидесятой улицы и свернули на Пятую авеню.

– Вообще-то молоденькие девушки меня не интересуют, – нахмурился Энтони.

Он слукавил. Хотя Энтони и считал, что среднестатистическая дебютантка день напролет говорит и думает о перспективах, которые для нее откроет в течение следующего часа огромный мир, любая девушка, зарабатывающая на жизнь красивой внешностью, вызывала у него огромный интерес.

– Глория обворожительна... и совсем глупенькая.

Энтони саркастически фыркнул:

– Хочешь сказать, кухня не способна вести беседы на литературные темы?

– Вовсе нет.

– Слушай, Дик, сам знаешь, что в твоём понимании подразумевается под умственными способностями женщины. Серьезные молодые девицы, которые сядут с тобой в уголке и с глубокомысленным видом заведут разговор о жизни. Из тех, что в шестнадцать лет с важными физиономиями спорят, можно целоваться или нет, и прилично ли для первокурсника пить пиво.

Ричард Кэрамел имел вид человека, оскорбленного в лучших чувствах. Его нахмуренное лицо еще больше сморщилось, став похожим на мятую бумагу.

– Нет... – начал он, но Энтони безжалостно перебил:

– Да-да, именно так. Те, что и сейчас разбежались по углам и обсуждают новоиспеченного скандинавского Данте, творения которого появились в английском переводе.

Дик повернулся к приятелю, все его лицо странным образом опало, и в обращенном к Энтони вопросе слышалась мольба:

– Да что случилось с тобой и Мори? Разговариваете, будто я существо низшего сорта, эдакий дурачок.

Энтони смутился, но он замерз и чувствовал себя неуютно, а потому решил, что лучшая защита – нападение.

– Дик, речь идет вовсе не о твоих умственных способностях.

– Разумеется, о них! – сердито воскликнул Дик. – И вообще, что ты хочешь сказать?

Почему это они не имеют значения?

– Возможно, твои знания слишком обширны, чтобы выразить их пером.

– Так не бывает.

– Я вполне могу представить человека, – настойчиво продолжал свою мысль Энтони, – знания которого слишком велики и не соответствуют его таланту. Взять, к примеру, меня. Представь, что я мудрее тебя, но менее талантлив, а потому не могу членораздельно выразить свои мысли. У тебя же, напротив, имеется достаточно воды, чтобы наполнить ведро, а к тому же есть и само ведро.

– Ничего не понимаю, – пожаловался Дик упавшим голосом. Он пришел в полное смятение, и все выпуклости на его теле стали еще заметнее, словно в знак протеста. С обиженным видом он уставился на Энтони, загораживая дорогу прохожим, которые награждали его возмущенными взглядами.

– Я всего лишь хочу сказать, что, обладая талантом Уэлса, можно осилить мысли Спенсера. Однако если талант рангом ниже, следует с благодарностью заняться более мелкими идеями, и чем уже взгляд на предмет, тем увлекательнее ты его опишешь.

Дик задумался, не в силах оценить суровую критику, содержащуюся в словах приятеля. А Энтони продолжал свою речь с легкостью, которая время от времени так и рвалась в свободный полет. Темные глаза сияли на худощавом лице, подбородок вздернулся вверх, голос стал громче, и сам он будто стал выше ростом.

– Скажем, я полон гордости, благоразумия и мудрости – ни дать ни взять афинянин среди греков. И все же я могу потерпеть неудачу, где человек с более скромными достоинствами преуспеет. Ведь он способен подражать, что-то приукрасить, проявить восторг и вселяющую надежду склонность к созиданию. А моему гипотетическому «я» гордость не позволит унижаться до подражания, оно слишком благоразумно, чтобы восторгаться, и чувствует себя слишком искусственным, чтобы стать утопистом, в высшей степени греком, натуре которого противно украшательство.

– Значит, по-твоему, творение художника не является плодом его собственного ума?

– Нет, он, если может, совершенствует свое заимствование в области стиля, выбирая из собственной интерпретации окружающего мира наиболее подходящий для себя материал. В конечном итоге любой писатель занимается своим ремеслом, потому что таков его образ жизни. И не говори, что тебе нравится вся эта чепуха о «божественном предназначении художника».

– Да мне как-то непривычно употреблять применительно к себе слово «художник».

– Дик, – обратился Энтони к приятелю, меняя тон, – хочу попросить у тебя прощения.

– За что?

– За неуместный всплеск эмоций. Я правда сожалею. Разболтался тут из желания покрасоваться.

– Вот я и говорю, что в душе ты филистер, – немного успокоившись, заметил Дик.

На город уже опустились сумерки, и друзья, укрывшись за белыми стенами отеля «Плаза», не спеша наслаждались густым эггногом с обильной желтой пеной. Энтони бросил взгляд на собеседника. Нос и лоб Ричарда Кэрамела постепенно приобретали естественную окраску: с первого сходила краснота, а со второго – синюшная бледность. Посмотрев в зеркало, Энтони с радостью отметил, что его собственная кожа не претерпела изменений. Напротив, на щеках играл легкий румянец, и вдруг подумалось, что никогда еще он не выглядел так хорошо.

– Все, мне достаточно, – заявил Дик тоном спортсмена на тренировке. – Хочу подняться наверх и навестить Гилбертов. Пойдешь со мной?

– Ну, вообще-то я не прочь. Если только не отдашь меня на заклятие родителям, а сам уединишься в укромном уголке с Дорой.

– Ее зовут не Дора, а Глория.

Портье сообщил по телефону об их приходе. Поднявшись на десятый этаж, приятели прошли извилистым коридором и постучали в дверь номера 1088. Им открыла дама средних лет, миссис Гилберт собственной персоной.

– Как поживаете? – Она говорила на принятом между американскими светскими дамами языке. – Страшно рада вас видеть...

Дик торопливо выдавил пару междометий.

– Мистер Пэтс? Входите же, оставьте пальто здесь. – Она показала на стул, переходя на умильный тон, перемежающийся смешками с придыханием. – Прелестно, в самом деле прелестно. Что же, Ричард, вы так долго нас не навещали? Нет! Нет! – Односложные восклицания служили отчасти ответом на невнятные оправдания Ричарда, отчасти средством для заполнения пауз. – Присаживайтесь и расскажите, чем занимались все это время.

Потом пришлось обмениваться дежурными фразами, стоя кланяться и изображать на лице беспомощные в своей глупости улыбки, думая лишь о том, когда же хозяйка наконец сядет и можно будет с облегчением погрузиться в кресло и приступить к приятной беседе.

– Полагаю, причиной всему ваша занятость... Впрочем, могут быть и другие, – предположила миссис Гилберт с несколько двусмысленной улыбкой. Намеком «впрочем, могут быть и другие» она приводила в равновесие и гармонию остальные более шаткие высказывания. У нее в запасе имелась еще пара подобных фраз: «во всяком случае, так мне кажется» и «совершенно очевидно». Миссис Гилберт применяла их по очереди, что превращало каждое ее замечание в обобщенную точку зрения на жизнь, будто после тщательного подсчитывания всех причин она наконец указывала пальцем на главную.

Энтони отметил, что лицо Ричарда Кэрамела приобрело вполне приличный вид. Лоб и щеки снова стали телесного цвета, нос тоже не выделялся, скромно ступавшись на их фоне. Он сверлил тетушку ярко-желтым глазом с преувеличенным вниманием, которое молодые мужчины обычно проявляют ко всем особам женского пола, больше не представляющим для них никакой ценности.

– Вы тоже писатель, мистер Пэтс? Возможно, все мы погреемся в лучах славы, доставшейся Ричарду. – Миссис Гилберт сопровождала свои слова легким смешком. – А Глории нет дома, – сообщила она, будто изрекая аксиому, из которой намеревалась сделать дальнейшие выводы. – Где-то танцует. Вечно куда-то бежит, торопится. Я говорю, что так нельзя. Не понимаю, как она все это выдерживает. Танцует день и ночь напролет, пока не доведет себя до полного истощения и не превратится в тень. Отец сильно обеспокоен ее образом жизни.

Миссис Гилберт наградила улыбкой обоих гостей, и те улыбнулись в ответ.

Энтони вдруг осознал, что миссис Гилберт состоит из чередующихся полуокружностей и парабол, наподобие тех фигур, что сообразительные умельцы творят с помощью пишущей машинки: голова, руки, грудь, бедра и лодыжки представляли собой расположенные ярусами округлости, являвшие ошеломляющее зрелище. Она выглядела ухоженной и опрятной, с красивой сединой искусственного происхождения и крупным лицом, на котором приютились выцветшие с годами голубые глаза и украшали едва заметные белесые усики.

– Я всегда говорила, – обратилась она к Энтони, – что у Ричарда душа древняя.

Наступила напряженная пауза, во время которой Энтони размышлял над каламбуром по поводу того, как жизнь потрепала Дика.

– У всех нас души имеют разный возраст, – с сияющим видом продолжила миссис Гилберт. – Во всяком случае, я думаю именно так.

– Вполне возможно, – согласился Энтони, изображая живую заинтересованность столь многообещающей гипотезой.

– А вот у Глории душа юная и легкомысленная, это совершенно очевидно. У нее полностью отсутствует чувство ответственности.

– Она блистательна, тетя Кэтрин, – любезно возразил Ричард. – Чувство ответственности ее бы только испортило. Глория для этого слишком красива.

– Ну, не знаю, – призналась миссис Гилберт. – Только вижу, что она все время куда-то бежит, бежит.

Обсуждение частых отлучек Глории, которые рассматривались как серьезный недостаток, прервал скрип поворачивающейся дверной ручки, после чего в комнате появился мистер Гилберт.

Это был низенький человек с белым облачком усов, пристроившихся под весьма заурядным носом. Он достиг стадии, когда ценность человека как существа общественного сошла на нет и уже начался отсчет в обратную сторону. Его бредовые идеи волновали умы двадцать лет назад, а мышление плелось, спотыкаясь, в фарватере передовиц ежедневных газет. По окончании не самого известного, но устрашающего своими строгими правилами университета где-то

на Западе он занялся производством целлулоида, и так как для этого бизнеса было достаточно весьма скромных умственных способностей, мистер Гилберт преуспел, и дела его несколько лет шли хорошо, до 1911 года. Именно тогда он отказался от контрактов с кинопромышленностью, отдав предпочтение весьма ненадежным личным договоренностям. К 1912 году киноиндустрия задумала его «проглотить», однако в тот раз, выражаясь фигурально, мистеру Гилберту удалось, опасно балансируя, удержаться на кончике ее языка. В настоящее время он являлся управляющим дочерней компанией по производству киноплёнки на Среднем Западе, проводил полгода в Нью-Йорке, а остальное время в Канзас-Сити и Сент-Луисе. Мистер Гилберт свято верил, что совсем скоро подвернется счастливый случай, который изменит жизнь в лучшую сторону. Супруга и дочь придерживались того же мнения.

Поведение Глории вызывало неодобрение мистера Гилберта. Девушка постоянно задерживалась по вечерам, никогда толком не ела, и вся ее жизнь представляла собой сплошной сумбур. Однажды в ответ на замечание дочь выразила свое раздражение в словах, о наличии которых в лексиконе молодой девушки он и не подозревал. С женой дело обстояло проще. После пятнадцати лет непрерывной партизанской войны мистер Гилберт одержал верх над супругой. Все эти годы шло сражение между беспорядочным оптимизмом и упорядоченной тупостью, где победу мистеру Гилберту принесла его способность перемежать речь бессчетным количеством «да», способным отравить любую беседу.

– Да-да-да-да, – заводил он, – да-да-да. Дай сообщаю. Это было летом... Пстой-ка... летом девяносто первого или девяносто второго года. Да-да-да...

Пятнадцатилетнее «даканье» вымотало миссис Гилберт, а последующие пятнадцать лет непрерывного словоблудия, сопровождаемого щелчками пальцев, сбивающих пепел с тридцати двух тысяч сигар, добились ее окончательно. И тут она пошла на последнюю в супружеской жизни уступку мужу, которая стала окончательной и полной в сравнении с первой, когда она согласилась выйти за него замуж. Миссис Гилберт стала слушать супруга, убеждая себя, что прожитые годы сделали ее более терпимой, тогда как на самом деле они уничтожили остатки духовных сил, которыми эта женщина некогда обладала.

– Это мистер Пэтс, – представила она Энтони мужу.

Старик и юноша пожали друг другу руки. Рука мистера Гилберта была мягкой и вялой, словно грейпфрут, из которого выжали сок. Затем настал черед обмена приветствиями между супругами. Мистер Гилберт сообщил жене, что на улице похолодало, а он прогулялся до газетного киоска на Сорок четвертой улице, чтобы купить издаваемую в Канзас-Сити газету. Намеревался вернуться на автобусе, но решил, что слишком холодно. «Да-да-да, слишком холодно».

Миссис Гилберт придавала пикантности этому приключению, выразив восхищение мужеством, которое проявил супруг, бросивший вызов стихии.

– Да ты настоящий храбрец! – с умилением воскликнула она. – Просто герой! Я бы ни за что на свете не вышла на улицу в такую стужу.

Мистер Гилберт с истинно мужским бесстрашием проигнорировал благоговейный трепет, который вызвал у супруги, и, устремив взор на молодых людей, с ликующим видом принялся подталкивать их к продолжению разговора о погоде. Ричарда Кэрамела призвали вспомнить ноябрь в Канзасе. Однако едва тот успел открыть рот, как нить беседы перехватил сам инициатор и принялся занудливо обсасывать предложенную тему со всех сторон, пока не лишил разговор остатков живости.

Для начала он выставил на обсуждение древний как мир тезис, что дни в неких краях были теплыми, а ночи приятно прохладными, затем решил вычислить точное расстояние между двумя пунктами на неведомой железной дороге, названия которых по неосторожности упомянул Дик. Энтони, устремив на мистера Гилберта внимательный взгляд, начал впадать в гипнотическое состояние, куда незамедлительно ворвался жизнерадостный голос собеседника:

– По-моему, холод в здешних краях усугубляется сыростью и прямо-таки пробирает до костей.

Поскольку это же замечание, но приправленное соответствующим количеством «да» уже вертелось у мистера Гилберта на языке, его вряд ли можно упрекнуть в резкой смене темы разговора:

– А где Глория?

– Ждем с минуты на минуту.

– Вы знакомы с моей дочерью, мистер?..

– Не имел удовольствия, но много слышал о ней от Дика.

– Они с Ричардом двоюродные брат и сестра.

– Вот как? – Энтони выдавил улыбку. Он не привык к обществу старших по возрасту людей, и рот уже начало сводить от вымученных проявлений веселья. И правда, как приятно узнать, что Дика и Глорию связывают узы родства. В следующее мгновение он ухитрился бросить полный отчаяния взгляд на приятеля.

Ричард Кэрамел выразил сожаление, что настало время прощаться.

Миссис Гилберт страшно огорчило это известие.

Мистер Гилберт тоже считал его весьма прискорбным.

Миссис Гилберт не преминула развить эту мысль, сообщив, что визит молодых людей доставил несказанную радость, пусть они и застали дома только пожилую даму, которой возраст не позволяет пофлиртовать с гостями. Энтони и Дик, видимо, сочли остроуту забавной, так как смеялись в течение целого музыкального такта размером в три четверти.

Ведь они заглянут еще?

– О да, непременно.

– Глория страшно расстроится!

– До свидания...

– До свидания...

Улыбки!

Еще улыбки!

Хлопает дверь!

Двое безутешных юношей движутся по коридору десятого этажа отеля «Плаза» в сторону лифта.

Дамские ножки

За очаровательной леностью, любовью к праздности и изящной насмешливостью Мори скрывались на удивление зрелая целеустремленность и упорство. Еще в колледже он заявил, что намерен провести три года в путешествиях, последующие три года повеселиться всласть, а затем, не откладывая в долгий ящик, несметно разбогатеть.

Три года странствий остались позади. Он изучил земной шар с настойчивой пытливостью, исключаяющей любое проявление стихийности, – ни дать ни взять ходячий путеводитель Бэдекера в человеческом обличье. У любого другого подобные действия расценивались бы как проявление педантизма, но в случае с Мори они приобретали некий загадочный смысл, направленный на осуществление важной цели. Будто Мори Ноублу было предначертано судьбой стать подобием Антихриста, дабы обойти всю землю вдоль и поперек и увидеть миллиарды человеческих существ, которые плодятся, убивают друг друга и плачут.

Вернувшись в Америку, он с таким же упорством и рвением пустился на поиски развлечений. Мори, который никогда прежде не выпивал за один раз больше пары коктейлей или пинты вина, приучил себя пить так, как если бы взялся самостоятельно изучать греческий язык. Словно алкоголь, подобно греческому языку, способен открыть путь к сокровищнице

новых ощущений, неизведанных психических состояний и манеры поведения в минуты радости и горя.

Образ жизни Мори являлся предметом эзотерических размышлений. Он снимал три комнаты в холостяцкой квартире на Сорок четвертой улице, но появлялся там нечасто. Телефонистка получила четкие указания никого с ним не соединять без предварительного сообщения имени. Ей также передали список полудюжины людей, для которых Мори постоянно отсутствовал, и еще один список с таким же количеством имен, для которых он был дома всегда. Первыми во втором списке значились Энтони Пэтч и Ричард Кэрамел.

Мать Мори жила с его женатым братом в Филадельфии, куда он обычно уезжал на выходные, а потому Энтони страшно обрадовался, когда одним субботним вечером, бродя в приступе тоски по зябким неприветливым улицам, заглянул в Молтон-Армз и застал мистера Ноубла дома.

Его настроение поднималось на глазах, опережая стремительно мчащийся вверх лифт. Как чудесно, невообразимо прекрасно встретиться и поболтать с Мори, а тот, в свою очередь, искренне обрадуется визиту приятеля. Друзья будут смотреть друг на друга, скрывая за добродушной насмешкой светящееся во взгляде чувство глубокой привязанности. Будь сейчас лето, они бы прогулялись, расстегнув воротнички, лениво потягивали бы из высоких стаканов коктейль «Том Коллинз» и смотрели не слишком увлекательное, вялое представление в каком-нибудь окутанном августовской праздностью кабаре. Но за окном стоял холод, между высокими зданиями свистел ледяной ветер, а по улицам прогуливался декабрь, и, стало быть, куда приятней скоротать вечер вместе с другом при неярком свете лампы и пропустить по стаканчику виски «Олд Бушмилл» или ликера «Гранд Марнье». По стенам комнаты, подобно церковным ризам, мерцают корешки книг, а похожий на большого кота Мори развалился в кресле, излучая вокруг себя божественную апатию.

Наконец-то добрался! Стены комнаты сомкнулись вокруг Энтони, обволакивая теплом. Сияние ума, обладающего мощным даром убеждения, внешняя невозмутимость, схожая с той, что встречается на Востоке, согрели неприкаянную душу Энтони, подарив покой, который можно обрести только в обществе глупой женщины. Надо либо все понимать, либо принимать как должное. Подобный божеству, похожий на царственного тигра Мори заполнил собой все пространство. Ветер за окном стих, а медные подсвечники на каминной полке сияли, словно перед алтарем.

– Что тебя сегодня задержало? – Энтони развалился на мягком диване, упершись локтями в подушки.

– Вернулся домой час назад. Чаепитие с танцами. Вот припозднился и не успел на поезд в Филадельфию.

– Странно, что тебяхватило так надолго.

– Действительно. А чем ты занимался?

– Джеральдин. Маленькой билетершей у Китса. Да я о ней рассказывал.

– Понятно!

– Нанесла визит около трех и просидела до пяти. Занятое существо. Что-то меня в ней трогает. Полная глупышка.

Мори хранил молчание.

– Как ни странно, – продолжил Энтони, – но по отношению ко мне и вообще, насколько я знаю, Джеральдин – образец добродетели.

С Джеральдин, девушкой с неопределенным образом жизни и тягой к перемене обстановки, он познакомился около месяца назад. Ее случайно представили Энтони, и девушка показалась ему забавной, а еще понравились целомудренные, легкие, как прикосновение эльфа, поцелуи, которыми Джеральдин осыпала его на третий вечер знакомства, когда они ехали в такси по Центральному парку. О ее семье Энтони имел расплывчатое представление,

знал только, что есть где-то дядя с тетей, с которыми она делит квартиру в лабиринте улиц с сотыми номерами. Она была общительной, без неожиданностей, в меру задушевной и оказывала на Энтони успокаивающее действие. Более близких отношений он не искал, не желая экспериментировать, и поступал так не по соображениям нравственности, а из боязни любой привязанности, способной нарушить плавное течение жизни, которая становилась все безмятежнее.

– У Джеральдин два излюбленных трюка, – поведал Энтони другу. – Она навешивает волосы на глаза, а потом сдувает их в сторону, а еще говорит «Ты спя-я-я-тил!» всякий раз, когда слышит что-либо выше своего понимания. Меня это приводит в восторг. Наблюдаю за ней часами, теряясь в догадках, какие еще маниакальные симптомы обнаружатся с ее помощью в моем воображении.

Мори пошевелился в кресле и заговорил:

– Удивительно, что подобный человек может жить в нашей сложной цивилизации, практически не имея о ней представления. Такая женщина воспринимает вселенную с полным безразличием, как нечто совершенно обыденное. Ей чуждо все, от влияния идей Руссо на человечество до формирования цен на собственный ужин. Ее вырвали из века копыеносцев и перенесли к нам, где предлагают, вооружившись луком, принять участие в дуэли на пистолетах. Можно отбросить целый исторический пласт, а она не почувствует никакой разницы.

– Вот бы наш Ричард о ней написал.

– Энтони, ты же понимаешь, что она того не стоит.

– Как и все прочие, – откликнулся, зевая, Энтони. – Знаешь, сегодня я поймал себя на мысли, что верю в Ричарда. Если он заинтересуется людьми, а не идеями и станет черпать вдохновение из жизни, а не искусства, его талант будет развиваться нормально, и, не сомневаясь, он станет большим писателем.

– И мне думается, что свидетельством обращения к реальной жизни служит черная записная книжка, что у него появилась.

Энтони приподнялся на локте и с воодушевлением подхватил:

– Он старается идти в ногу с жизнью, как любой литератор, за исключением самых ничемных, и все же большинство из них питаются переваренной пищей. Сам сюжет или персонаж можно взять из жизни, но писатель, как правило, трактует их, основываясь на последней прочитанной книге. Например, предположим, встречается он капитана корабля и видит в нем самобытный персонаж. Однако в действительности он ищет сходство между этим капитаном и образом, который создал Ричард Генри Дана, или кто там еще пишет о капитанах кораблей. Вот почему он знает, как изобразить своего капитана на бумаге. Дик, разумеется, может описать заведомо колоритный персонаж, какие уже встречались и прежде, только способен ли он точно передать характер собственной сестры?

Следующие полчаса они посвятили обсуждению вопросов литературы.

– Классической, – выдвинул предположение Энтони, – считается удачная книга, которая выдержала испытание временем и вызывает интерес у следующего поколения. Тогда ей ничто не грозит, как стилю в архитектуре или мебели, ибо взамен скоротечной моды она обретает художественную значимость.

Через некоторое время тема себя исчерпала, так как интерес к ней со стороны обоих молодых людей не являлся профессиональным. Просто они обожали обобщения. Энтони недавно открыл для себя Сэмюэла Батлера и считал его бойкие афоризмы из записной книжки вершиной искусства критики. Мори, чей разум окончательно созрел благодаря детально разработанной жесткой жизненной позиции, был из двух друзей более мудрым, однако в целом они не сильно отличались друг от друга по умственным способностям.

С литературы они плавно перешли к перипетиям прожитого дня.

– У кого устраивали чаепитие?

- У Эберкромби.
- И почему же ты задержался? Встретил миленькую дебютантку?
- Угадал.
- Неужели? – изумился Энтони, повышая голос.
- Ну, строго говоря, она не дебютантка. Сказала, что начала выезжать в Канзас-Сити два года назад.
- Стало быть, засиделась?
- Ничего подобного, – весело запротестовал Мори. – Это слово совсем к ней не подходит. Она... в общем, она казалась там самой юной из всех.
- Однако ее опыта хватило, чтобы ты опоздал на поезд.
- Прелестное дитя.
- Энтони насмешливо фыркнул:
- Ах, Мори, ты сам впадаешь в детство. Что подразумевается под словом «прелестное»?
- Мори с беспомощным видом уставился в пространство.
- Ну, не могу ее точно описать. Скажу одно: она прекрасна. Удивительно живая и непосредственная. А еще она жевала желатиновые пастилки.
- Что?!
- Ну, в некотором роде тайный порок. Она очень нервная. Говорит, что всегда жует желатиновые пастилки на чаепитиях, потому что приходится долгое время находиться без движения на одном месте.
- Ну и о чем же вы говорили? О Бергсоне или билфизме? Или обсуждали аморальность уан-степа?
- Мори сохранял невозмутимость, шерсть была гладкой и не дыбилась ни в одном месте.
- Мы и в самом деле затронули тему билфизма. Кажется, ее мать билфистка, хотя большей частью мы говорили о ногах.
- Энтони буквально затрясся от смеха.
- О Господи! И о чьих же ногах?
- О ее. Она много рассказывала о своих ногах, будто они антикварная редкость. У меня возникло непреодолимое желание на них взглянуть.
- Она что, танцовщица?
- Нет, я выяснил, что она кузина Дика.
- Энтони так резко выпрямился, что подушка, на которую он опирался, встав на дыбы, спикировала на пол, словно живое существо.
- А звать ее Глория Гилберт? – воскликнул он.
- Ну разве она не чудо?
- Затрудняюсь сказать... судя по тупости ее папаши...
- Знаешь, – решительно перебил Мори, – возможно, ее семейство наводит уныние не хуже профессиональных плакальчиков, но я склонен думать, что сама девушка – человек своеобразный и искренний. На вид заурядная выпускница Йельского университета, но на самом деле совсем другая, совершенно особенная.
- Ну-ну! – подтрунивал Энтони. – Как только Дик назвал ее безмозгой, я сразу понял, что девушка наверняка очаровательная.
- А он так и сказал?
- Клянусь. – Энтони снова насмешливо фыркнул.
- Ну, у женщины он под мозгами подразумевает...
- Это мне хорошо известно, – нетерпеливо перебил Энтони. – Он имеет в виду болтовню о литературе.
- Вот именно. Дамы из тех, которые считают ежегодный упадок нравственности в стране либо хорошим признаком, либо дурным тоном. Непременное пенсне на носу или корчат из

себя невесть что. А эта девушка говорила о своих ножках, а еще о коже... о своей коже. Всегда говорит о чем-нибудь своем. Рассказала, как хочет загореть летом и насколько ей обычно удается достигнуть желаемой цели.

– И ты сидел, околдованный ее контральто?

– Контральто?! Да нет же, ее загаром! Я и сам задумался о загаре, вспомнил, какого добился оттенка, когда загорал в последний раз два года назад. Да, загорал я в прежние времена хорошо, до цвета бронзы, если память мне не изменяет.

Энтони снова откинулся на подушки, сотрясаясь от смеха.

– Ох, Мори, да она тебя здорово завела! Мори, коннектикутский спасатель. Человек с кожей цвета мускатного ореха. Потрясающе! Богатая наследница сбегает с береговым охранником, покоренная его сногшибательной пигментацией! А потом выясняется, что в его жилах течет кровь аборигенов Тасмании!

Мори, вздохнув, поднялся с места и, подойдя к окну, отдернул занавеску.

– Метель.

Энтони, продолжая тихо смеяться, ничего не ответил.

– Снова наступила зима, – донесся от окна шепот Мори. – Мы стареем, Энтони. Мне уже двадцать семь. О Господи! Через три года будет тридцать, а потом я стану одним из тех, кого студент последнего курса называет пожилым человеком.

Энтони мгновение помолчал.

– Ты старик, Мори, – согласился он наконец. – И первым признаком стремительно приближающейся непотребной дряхлости является обсуждение девичьих ножек и загара, которому ты посвятил весь день.

Мори резким движением опустил штору.

– Идиот! – вскричал он. – И это я слышу от тебя! Так вот, юный Энтони, я сижу здесь и буду сидеть дальше, пока не вырастет следующее поколение, наблюдая, как весельчаки вроде тебя, Дика и Глории проносятся мимо в танце, распевая, любя и ненавидя друг друга. В вечном вихре движения и страстей. А меня трогает только полное отсутствие чувств и переживаний. И я буду сидеть, и будет падать снег... Эх, где же Кэрамел с его записной книжкой! Наступит еще одна зима, и мне исполнится тридцать. А ты с Диком и Глорией будешь вечно кружиться в танце и петь, пролетая мимо меня. А когда вы все исчезнете, я стану подбрасывать мысли другим Дикам и выслушивать циничные рассуждения о разочарованиях других Энтони... и, разумеется, обсуждать оттенки загара на будущее лето с другими Глориями.

В камине ярко вспыхнул огонь. Мори, отойдя от окна, помешал головешки кочергой и положил новое полено на подставку для дров, а потом вернулся в кресло, и последние слова его речи заглушил треск разгорающегося дерева, изрыгающего красно-желтые вспышки пламени.

– В конце концов, Энтони, это ты у нас юный романтик. Именно ты, в силу чрезмерной впечатлительности, боишься, что нарушится твой покой. А я делаю очередную попытку сдвинуться с места, почувствовать, что меня что-то тронуло... и даже в тысячный раз я остаюсь самим собой. И ничто... ничто на свете не способно меня расшевелить.

– И все-таки, – после затянувшейся паузы пробормотал Мори, – в этой малышке вместе с ее нелепым загаром что-то есть, нечто непостижимо древнее и вечное... совсем как я.

Тревога

Энтони сонно повернулся на кровати, вперив взгляд в пересеченное тенью оконного переплета холодное солнечное пятно на стеганом одеяле. В комнате воцарилось утро. Резной комод в углу и старинный, хранивший непроницаемый вид платяной шкаф возвышались мрачными символами, сулившими вечное забвение, и только ковер манил своей недолговечностью такие же бранные, обреченные на тление ноги. Картину дополнял Баундс, ужасно непотреб-

ный в своем мягком воротничке и такой же расплывчатый, что и облачко пара, которое выдыхал. Он стоял рядом с кроватью, устремив невозмутимый взгляд темно-карих глаз на хозяина. Баундс отпустил край одеяла, который только что энергично дергал.

– Баус! – пробормотало находившееся в состоянии полудремы божество. – Эфо фы, Баус?

– Я, сэр.

Энтони повернул голову, силясь открыть глаза, и когда в этом преуспел, с довольным видом заморгал.

– Баундс...

– Да, сэр?

– Не могли бы вы... О-ох, о Господи! – На Энтони напала неумная зевота, от которой мозги, казалось, слиплись в плотный ком. Он сделал еще одну попытку выразить свою мысль: – Не могли бы вы прийти часам к четверем, накрыть стол для чаепития и приготовить сэндвичи, ну и все прочее?

– Да, сэр.

Энтони пытался сообразить что-нибудь еще, мучаясь от удручающего недостатка вдохновения.

– Разные сэндвичи, – с беспомощным видом повторил он. – Ну да, с сыром, конфитюром, а еще с курятиной и маслинами. О завтраке не тревожьтесь.

Напряжение в результате изобретательской деятельности оказалось слишком велико. Энтони устало закрыл глаза, бессильно уронив голову и расслабляя мышцы, которые успел привести в действие. Из тайников сознания выползал туманный, но неумолимый призрак предыдущей ночи. На сей раз им оказался всего лишь бесконечно долгий разговор с Ричардом Кэрамелом, который пришел к Энтони в полночь. Приятели выпили четыре бутылки пива, закусывая сухариками, а в это время Энтони слушал первую часть «Демонического любовника».

И сейчас, по прошествии многих часов, Энтони слышал чей-то голос, но отмахивался от него, так как снова накатил сон, окутывая мягкими складками и заполняя во все уголки сознания.

Внезапно он проснулся от звука собственного голоса:

– Что?

– На сколько персон накрыть? – В изножье кровати застыл Баундс, олицетворяя само терпение. Тот самый Баундс, что делил отработанный стиль поведения между тремя джентльменами.

– На сколько чего?

– Полагаю, сэр, мне следует знать количество гостей, которых вы ожидаете. Ведь нужно определиться с сэндвичами.

– Двое, – хриплым голосом буркнул Энтони. – Леди и джентльмен.

– Благодарю, сэр, – откликнулся Баундс и удалился, унося постыдный мягкий воротничок, оскорбляющий чувства всех троих джентльменов, каждому из которых принадлежала лишь треть Баундса.

По прошествии довольно долгого времени Энтони встал и облачил свою красивую стройную фигуру в коричневый с синим переливчатый халат. Зевнув напоследок, он направился в ванную и включил светильник на туалетном столике, поскольку выходящих на улицу окон не имелось. Затем Энтони принялся с интересом рассматривать свое отражение в зеркале и пришел к выводу, что представляет собой жалкое зрелище. Эта мысль посещала его каждое утро, так как после сна лицо приобретало неестественную бледность. Закурив сигарету, он просмотрел несколько писем и утренний номер «Трибьюн».

Спустя час, гладко выбритый и полностью одетый, он сидел за письменным столом и изучал листок с неразборчивыми каракулями, который извлек из бумажника: «Встретиться с

мистером Хаулэндом в пять. Постричься. Оплатить счет от Риверса. Зайти в книжный магазин».

Следующая запись гласила: «Наличных денег в банке 690 долларов (зачеркнуто), 612 долларов (зачеркнуто), 607 долларов».

В самом низу наспех сделана приписка: «Дик и Глория Гилберт приглашены на чай».

Последняя запись доставила Энтони явное удовольствие. Его обычный день, студентский, расплывчатый и бесформенный, как медуза, неожиданно уподобился устойчивому скелету гиганта из мезозойской эры, уверенно и бойко шагая к кульминации, как и полагается в каждой пьесе и непременно должно распространяться на повседневную жизнь. Энтони страшился мгновения, когда хребет радостного дня будет сломан и он, наконец встретившись и поговорив с этой девушкой, с поклоном распрощается у двери, за которой она исчезнет, унося с собой смех. Ему лишь останется вернуться к столу, где уныло стоят чашки с недопитым чаем и черствеют недоеденные сэндвичи.

Жизнь Энтони становилась все более бесцветной. Он постоянно это чувствовал и порой связывал свое состояние с разговором с Мори Ноублом, который состоялся месяц назад. Нелепо думать, что Энтони угнетало нечто надуманное и недостойное, вроде осознания собственной расточительности. Однако нельзя отрицать факт, что три недели назад против воли вспыхнувшее преклонение перед прежними кумирами повлекло его в публичную библиотеку, где по карточке Ричарда Кэрамела он набрал с полдюжины книг по итальянскому Возрождению. То, что книги с тех пор так и лежали грудой на столе, увеличивая ежедневно задолженность перед библиотекой на двенадцать центов, никак не умаляло их ценности как свидетелей. Облаченные в колени и сафьян, они подтверждали факт его отступничества. Энтони пережил несколько часов панического страха, который вызвал у него сильное удивление.

Оправданием такого уклада прежде всего, разумеется, являлось утверждение о бессмысленности самой жизни. Советниками, министрами, придворными, а также лакеями и дворецкими этому великому владыке служили тысячи книг, поблескивавших корешками на полках, его квартира и все деньги, что достанутся, когда старик, живущий вверх по реке, задохнется от последнего приступа нравственности. От мира, полного угроз со стороны дебютанток и глупости многочисленных Джеральдинов, он благополучно освободился, и теперь, пожалуй, следует взять за пример для подражания кошачью невозмутимость Мори и гордо нести достигшую апогея мудрость предыдущих поколений.

Всем этим доводам противостояло нечто такое, что настойчиво анализировал мозг, воспринимая как сложную, вызывающую раздражение совокупность. И это нечто, несмотря на методичные старания от него избавиться, отважно попирая ногами, все же вытолкнуло Энтони на слякотные ноябрьские улицы и погнало в библиотеку, где не оказалось ни одной нужной книги. Вполне допустимо подвергать анализу действия Энтони до того предела, который он установил сам. Заходить дальше являлось бы с нашей стороны самонадеянностью. Он обнаружил у себя растущий страх перед одиночеством. Сама мысль об одинокой трапезе внушала ужас, и Энтони часто ужинал в компании людей, к которым испытывал неприязнь. Путешествия, в свое время такие увлекательные, сделались невыносимыми, превратившись в бессодержательное мелькание разноцветных красок, в погоню за призрачной тенью собственной мечты.

– Если я по сути своей так слаб, – рассуждал Энтони, – нужно работать, заняться каким-нибудь делом.

Мучила мысль, что он представляет собой лишнюю глубокую содержания посредственность, которая к тому же не обладает хладнокровием Мори и страстной увлеченностью Дика. Полное отсутствие каких-либо желаний казалось трагедией... И все-таки ему чего-то хотелось, чего-то неясного и неопределенного. В моменты прозрения Энтони понимал, что это некий путь надежды, который неминуемо приведет к надвигающейся злобещей старости.

После нескольких коктейлей и ленча в университетском клубе настроение Энтони несколько улучшилось. Он случайно встретил двух сокурсников по Гарварду, и в сравнении с тяжеловесной серостью их откровений собственная жизнь приобрела определенную яркость. Оба бывших однокашника успели жениться, и один из них за чашкой кофе живописал свои проказы на стороне, подбадриваемый понимающей ухмылкой приятеля. Глядя на них, Энтони подумал, что эти люди уже в утробе матери были готовыми мистерами Гилбертами. Лет через двадцать количество произносимых ими «да» возрастет вчетверо, а характер окончательно испортится, и превратятся они в отживший свой век бесполезный хлам с претензией на мудрость. И женщины, жизнь которых они загубили, будут нянчиться с ними до полного одряхления.

Нет, Энтони – совсем другое дело и способен на большее. Проходя по окончании трапезы по устланному ковром вестибюлю, он задержался у окна, чтобы взглянуть на шумную, вызывающую раздражение улицу. Он был Энтони Пэтчем, блистательным, наделенным притягательной силой наследником многочисленных поколений людей. Раскинувшийся за окном мир принадлежит ему, и уже маячит на горизонте долгожданная всепобеждающая ирония, которой он так жаждал.

С бесшабашной ребячливостью он воображал себя властелином мира. Получив дедовские деньги, он может воздвигнуть себе пьедестал, на котором утвердится, подобно Талейрану или лорду Веруламу. С его ясностью мышления, при изощренном и многогранном уме, достигнушем стадии зрелости, движимом некоей целью, которую еще предстоит обрести, дело для него непременно найдется. На этой неутешительной ноте фантазия иссякала... легко сказать, найти подходящее дело. Энтони представлял себя в конгрессе, копающимся в горах мусора, скопившихся в этом огромном свинарнике, наводненном узколобыми свиноподобными личностями, снимки которых попадают порой на глаза в воскресных выпусках газет. Хваленые пролетарии лепечут заученные истины, достойные интеллекта старшекласника, и пытаются навязать их народу! Ничтожные человечки с убогими амбициями, которые за счет многочисленных посредственностей стремятся вырваться из общей серости, чтобы вознестись на тусклые, лишенные романтики небеса, откуда управляют людьми. На самом верху дюжина лучших представителей. Изворотливые дельцы, эгоистичные и бесстыдные. Согласившиеся дирижировать хором облаченных во фраки снобов, которые исполняют поражающий нестройностью гимн из путаных куплетов о богатстве как награде за добродетель и о нем же – как свидетельстве порока. И все это под бодрые возгласы, восхваляющие Господа, конституцию и Скалистые горы.

Лорд Верулам! Талейран!

Дома его снова ожидала безотрадная серость. Действие коктейлей выветрилось, навевая дремоту и настраивая на угрюмый лад. Это он-то лорд Верулам? Сама мысль вызвала горечь. Энтони Пэтч, не достигший в жизни заслуживающих восхищения высот, лишенный мужества и силы принять с чувством удовлетворения правду, когда она открывает свое лицо. Ах, напыщенный дурак, предающийся фантазиям под влиянием выпитых коктейлей, тайком бессильно сожалея о крушении своего убогого, ущербного идеализма. С отменным вкусом он нарядил свою душу в изящные одежды, а теперь тоскует по прежним лохмотьям. Энтони чувствовал себя опустошенным, как старая, давно выпитая до дна бутылка...

У дверей раздался звонок, и Энтони поднес к уху трубку, из которой донесся шутливо-высокопарный голос Ричарда Кэрамела:

– Позвольте доложить о прибытии мисс Глории Гилберг.

Прекрасная дама

– Здравствуйтесь! – с улыбкой приветствовал Энтони гостей, распахивая дверь.

- Глория, знакомься. Это Энтони, – с поклоном представил кузину Дик.
- Да ну тебя! – воскликнула девушка, протягивая маленькую руку в перчатке.

Под шубкой виднелось светло-голубое платье, отороченное у самой шеи кружевным в сборку воротником.

- Позвольте ваши вещи.

Энтони протянул руки, и в них соскользнул коричневый меховой водопад.

- Благодарю.

– Ну, что скажешь, Энтони? – спросил Ричард Кэрамел с откровенностью дикаря. – Разве она не красавица?

- Перестань! – с вызовом воскликнула девушка, сохраняя внешнюю невозмутимость.

Глория была ослепительна. Она вся излучала свет, от которого делалось больно глазам, не давая им в полной мере постигнуть эту красоту. Божественное сияние волос озаряло позимнему блеклую комнату, наполняя ее радостью.

Энтони подошел к светильнику в форме гриба и жестом фокусника заставил его вспыхнуть оранжевым великолепием. Язычки ожившего пламени в камине весело лизали решетку для дров.

– Я просто превратилась в ледышку, – с небрежным видом сообщила Глория, осматривая комнату прозрачными глазами едва уловимого голубоватого оттенка. – Какой славный огонек! Мы нашли местечко, где можно встать на железную решетку, из которой дует теплый воздух, но Дик не захотел меня ждать. И я сказала, чтобы он шел один, а мне и тут замечательно.

В словах Глории не было ничего особенного. Казалось, она говорит для собственного удовольствия, не прилагая ни малейшего усилия. Энтони, сидя на другом конце дивана, изучал ее профиль, выделяющийся на фоне светового пятна от лампы. Изящная, безупречно правильная линия носа и верхней губы, подбородок с едва заметным намеком на решительность прелестно смотрится на довольно короткой шее. На фотографии ее лицо, должно быть, выглядит образцом холодной классической красоты, но сияние, исходящее от волос, и нежный румянец на щеках делают его на удивление живым в сравнении со всеми остальными людьми, с которыми Энтони доводилось встречаться.

– По-моему, у вас самое замечательное имя из всех мне известных. – Девушка по-прежнему говорила исключительно для себя. Ее взгляд на мгновение задержался на Энтони, потом скользнул по итальянским бра, словно приклеенным с равными промежутками к стенам и похожим на светящихся желтых черепашек, пробежал по рядам книг и наконец остановился на кузене. – Энтони Пэтч. Вот только по внешнему виду вы должны походить на лошадь, с таким длинным, узким лицом. А еще вам полагается носить лохмотья.

– Ну, ваши слова относятся к фамилии Пэтч³. А как же должен выглядеть человек по имени Энтони?

– Вы и выглядите как Энтони, – с серьезным видом заверила девушка, и Энтони подумалось, что вряд ли она успела его рассмотреть. – Довольно величественно и внушительно.

Энтони выдавил смущенную улыбку.

– Только мне нравятся выразительные, созвучные имена, – продолжила девушка. – Все, за исключением собственного. Мое имя слишком вычурное. Впрочем, я была знакома с девушками по фамилии Джинкс, и только представьте, если бы их звали иначе: Джуди Джинкс и Джерри Джинкс. Здорово, верно? Или у вас иное мнение? – Она ждала ответа, приоткрыв детский ротик.

– В следующем поколении, – предположил Дик, – всех будут звать Питер или Барбара, так как в данный момент литературные персонажи с налетом пикантности носят именно эти имена.

³ Фамилия героя Пэтч переводится как «заплата».

– И разумеется, – развил пророчество Энтони, – Глэдис и Элинора. Украсив собой последнее поколение героинь и будучи в настоящее время всеобщими любимицами, они достанутся следующему поколению продавщиц...

– Вытеснив Эллу и Стелу, – перебил Дик.

– А также Перл и Джуэл, – живо поддержала Глория. – А еще Эрла и Элмера.

– А потом наступит мой черед, – заметил Дик. – И, откопав преданное забвению имя Джуэл, я назову им прелестную в своей эксцентричности героиню, и оно обретет новую жизнь.

Глория подхватывала нить разговора, и голос девушки кружил возле него на слегка повышенных тонах, акцентируя конец предложения полунасмешливой интонацией, будто защищаясь от попыток перебить себя, временами прерываясь сдавленным смешком. Дик рассказал, что слугу Энтони зовут Баундс, и Глории это страшно понравилось. Дик придумал неудачный каламбур по поводу того, что Баундс латает дыры своего хозяина Пэтча. И Глория тут же заявила, что хуже каламбура может быть только человек, который в качестве обязательного приложения стремится обидеть его автора насмешливо-укоряющим взглядом.

– Откуда вы? – поинтересовался Энтони. Ответ он знал, но при виде ее красоты все мысли из головы испарились.

– Из Канзас-Сити, штат Миссури.

– Ее оттуда выставили сразу же после введения запрета на продажу сигарет.

– Так там запретили сигареты? Чувствую руку дедушки-праведника.

– Ведь он реформатор или что-то в этом роде?

– Мне приходится за него краснеть.

– Мне тоже, – призналась Глория. – Ненавижу реформаторов, особенно тех, что стремятся переделать меня.

– И много таких?

– Полно. «Ах, Глория, если будешь злоупотреблять курением, испортишь свой прелестный цвет лица!» Или вот еще: «Ах, Глория, вышла бы ты замуж и угомонилась!»

Энтони поспешил согласиться, но ему сделалось любопытно, кто дерзнул разговаривать в подобном тоне с такой личностью, как Глория.

– А еще есть реформаторы более утонченные, – продолжала Глория. – Те, что передают жуткие истории, которые якобы о вас слышали, и не преминут упомянуть, как яростно вас защищали от злобных нападок.

Энтони наконец рассмотрел, что глаза у девушки серые, очень спокойные и невозмутимые, и когда их взгляд останавливался на его персоне, понимал, что хотел сказать Мори, утверждая, что Глория одновременно юна и стара как мир. Она всегда говорила только о себе, как прелестное дитя, и ее замечания по поводу собственных пристрастий были неожиданными и полными искренности.

– Должен признаться, – начал серьезно Энтони, – что даже я кое-что о вас слышал.

Мгновенно насторожившись, Глория выпрямилась. Глаза нежного серого оттенка незыблемой гранитной скалы встретились с его взглядом.

– Расскажите, и я поверю. Всегда верю тому, что обо мне говорят. А вы?

– Всенепременно! – дружно откликнулись оба юноши.

– Тогда рассказывайте.

– Право, не знаю, стоит ли?... – поддразнил девушку Энтони, не в силах сдержать улыбку. Ее интерес был совершенно очевидным, а поглощенность собственной персоной выглядела почти смешной.

– Он имеет в виду твое прозвище, – вмешался кузен Глории.

– Какое прозвище? – поинтересовался Энтони с вежливым недоумением.

– Глория-Странница! – В голосе девушки звучал смех, такой же неуловимый, как переменчивые тени от пламени камина и лампы, играющие на ее волосах. – О Господи!

Энтони был по-прежнему озадачен:

– И что это означает?

– Означает меня. Именно эта кличка прилипла ко мне с легкой руки каких-то глупых мальчишек.

– Неужели не понимаешь, Энтони, – пустился в объяснения Дик, – что имеешь дело со всенародно известной путешественницей и все такое прочее? Ведь ты это о ней слышал? Глорию называют так много лет, с той поры, как ей исполнилось семнадцать.

Глаза Энтони сделались насмешливо-печальными.

– Что за Мафусаила в женском обличье ты ко мне привел, Кэрамел?

Даже если замечание обидело девушку, она пропустила слова Энтони мимо ушей, возвращаясь к главной теме:

– Так что вы обо мне слышали?

– Кое-что о вашей внешности.

– Вот как? – разочарованно бросила Глория. – И только-то?

– О вашем загаре.

– Моем загаре? – Она была явно озадачена. Рука скользнула к шее и на мгновение замерла, будто изучая пальцами оттенки упомянутого загара.

– Помните Мори Ноубла? Вы с ним встретились около месяца назад и произвели неизгладимое впечатление.

Глория на секунду задумалась:

– Помню. Но он так мне и не позвонил.

– Уверен, бедняга просто не отважился.

За окном стояла непроглядная тьма, и Энтони удивился, что его жилище когда-то представлялось серым и унылым. Такими теплыми и полными дружелюбия выглядели книги и картины на стенах, и старина Баундс подавал чай, почтительно держась в тени, а трое приятных людей оживленно обменивались шутками у весело горящего камина.

Неудовлетворенность

В четверг днем Глория и Энтони пили чай в бифштексном зале ресторана «Плаза». Отороченный мехом костюм Глории был серого цвета. «В серой одежде нужно непременно сильно краситься», – пояснила она. Голову девушки украшала маленькая щегольская шляпка без полей, позволяя золотистым локонам весело струиться во всем их великолепии. При верхнем освещении лицо Глории выглядело гораздо нежнее, и вся она казалась Энтони такой юной – на вид не дашь и восемнадцати лет. Ее бедра, затянутые в узкий облегающий футляр с перехватом у щиколоток, который в ту пору назывался юбкой, смотрелись изумительно округлыми и изящными. Руки Глории, не «артистичные» и не короткопалые, были просто маленькими, как и положено у ребенка.

Когда они вошли в зал, оркестр заиграл первые заунывные аккорды матчиша, мелодия которого, наполненная звоном кастаньет и томными переливами скрипок, как нельзя лучше подходила для зимнего ресторана, заполненного радостно-оживленной по случаю приближающихся каникул толпой студентов. Внимательно осмотрев свободные места, Глория, к немалому раздражению Энтони, торжественно повела его кружным путем к столику на двоих, расположенному в дальнем конце зала. Здесь ее снова охватили сомнения: где лучше сесть, справа или слева? По прекрасным глазам и губам девушки было видно, как серьезно она относится к вопросу выбора. И Энтони в который раз удивился наивной непосредственности каждого ее жеста. Ко всему в жизни она относилась так, будто выбирала себе подарки, разложенные во всем неистощимом многообразии на бескрайнем прилавке.

Некоторое время Глория рассеянно следила за танцующими и делала негромкие замечания, когда пара приближалась к их столику.

– Вот миленькая девушка в синем платье...

И Энтони послушно поворачивал голову в указанном направлении.

– Да нет же! Прямо у вас за спиной! Вон там!

– Действительно, – беспомощно соглашался Энтони.

– Но вы же ее не видели.

– Я предпочитаю смотреть на вас.

– Знаю. Но она правда прелестна, если не брать в расчет толстые лодыжки.

– Неужели? То есть вы правы, – с безразличным видом обронил Энтони.

К их столику приблизилась очередная пара, и девушка помахала рукой:

– Эй, Глория, привет!

– Привет, – откликнулась Глория.

– Кто это? – поинтересовался Энтони.

– Понятия не имею. Так, где-то встречались. – Ее внимание уже переключилось на кого-то другого. – Привет, Мюриэл! Это Мюриэл Кейн, – пояснила она Энтони. – По-моему, симпатичная, хотя и не очень.

Энтони хмыкнул, по достоинству оценив замечание Глории.

– Симпатичная, хотя и не очень, – повторил он.

Глория улыбнулась, тут же проникаясь интересом.

– И что здесь забавного? – В ее тоне сквозило трогательное желание немедленно узнать причину.

– Просто забавно, вот и все.

– Хотите потанцевать?

– А вы?

– Можно. Но лучше посидим, – решила Глория.

– И побеседуем о вас. Вы ведь любите о себе говорить, верно?

– Да, – рассмеялась уличенная в тщеславии Глория.

– Думаю, у вас классическая биография.

– Дик считает, что у меня ее вообще нет.

– Дик! Да что ему о вас известно?

– Ничего. Но он говорит, что биография каждой женщины начинается с первого серьезного поцелуя и заканчивается, когда ей кладут на руки последнего родившегося ребенка.

– Он цитирует свою книгу.

– Дик утверждает, что у нелюбимых женщин нет биографии, а есть только прошлое.

– Ну, на роль нелюбимой женщины вы наверняка не претендуете! – снова рассмеялся Энтони.

– Полагаю, вы правы.

– Тогда почему же у вас нет биографии? Разве в вашей жизни еще не случилось серьезного поцелуя? – Едва слова сорвались с губ, Энтони сделал судорожный вдох, будто хотел заглотить их обратно. Она же совсем ребенок!

– Не понимаю, что вы подразумеваете под словом «серьезный», – с неодобрением в голосе отозвалась Глория.

– Хотелось бы знать, сколько вам лет.

– Двадцать два, – серьезно ответила она, глядя Энтони в глаза. – А вы думали сколько?

– Лет восемнадцать.

– Значит, пусть такой и останусь. Не хочу, чтобы мне было двадцать два. Больше всего на свете ненавижу свой возраст.

– Двадцать два года?

– Нет, не хочу стареть и все такое. Выходить замуж.

– Неужели вам вообще не хочется замуж?

– Не хочу взваливать на себя ответственность и возиться с кучей детей.

Глория не сомневалась, что в ее устах любые слова звучат приятно. Энтони, затаив дыхание, ждал следующей реплики в надежде, что она станет продолжением начатой темы. Глория мило улыбалась, не выражая особого восторга, и после недолгого молчания в пространство была брошена фраза:

– Вот бы пожевать желатиновых пастилок.

– Вы их непременно получите! – Энтони жестом подозвал официанта и отправил его к прилавку с сигаретами.

– Вы не возражаете? Обожаю желатиновые пастилки. Все надо мной подшучивают, потому что я их все время жую, когда папы нет поблизости.

– Нисколько. А кто все эти ребята? Вы с ними знакомы? – неожиданно спросил Энтони.

– Нет, что вы. Они все... ну, словом, собрались отовсюду. А вы разве сюда не заглядываете?

– Очень редко. Я не любитель «симпатичных девушек».

Ответ Энтони тут же вызвал живейший интерес. Глория с решительным видом повернулась спиной к танцующим, устроилась поудобнее на стуле и требовательным тоном спросила:

– Чем же вы занимаетесь?

Благодаря выпитому коктейлю вопрос показался Энтони очень уместным. У него возникло желание поговорить, более того, захотелось произвести впечатление на эту девушку, чье внимание то и дело переключалось с одного предмета на другой. Она останавливалась пощипать травку в самых непредсказуемых местах, торопливо пробегая пастбища, ненавязчиво притягивающие к себе взор. Ему хотелось порисоваться, неожиданно предстать перед ней в новом героическом облике, стряхнуть небрежное безразличие, с которым она относилась ко всему вокруг за исключением собственной персоны.

– Я ничего не делаю, – начал Энтони и тут же понял, что его слова лишены добродушного изящества, которое хотелось в них вложить. – Ничем не занимаюсь, так как не могу ничего сделать, что бы сделать стоило.

– Ну и что?

Энтони не удивил ее и даже не заинтересовал, но Глория его определенно поняла, если он и правда сказал нечто достойное понимания.

– Разве вы не относитесь с одобрением к ленивым мужчинам?

Глория кивнула:

– Пожалуй, если в их лени присутствует изящество. А для американца это возможно?

– А почему нет? – смутился Энтони.

Но ее мысли уже переключились на другой объект и витали на высоте десятого этажа.

– Папа на меня страшно злится, – заметила Глория безразличным тоном.

– За что? И все же мне хочется знать, почему американец не может лениться с изяществом. – Его голос приобрел уверенность. – Это меня удивляет. Не понимаю, чего ради люди решили, что каждый молодой человек обязан идти в центр города и по десять часов в день заниматься нудной, не требующей фантазии и не имеющей ничего общего с бескорыстием работой, отдавая ей двадцать лучших лет своей жизни.

Он прервал свою речь. Глория наблюдала за ним с непроницаемым видом. Энтони ждал, что она согласится или станет возражать, но не случилось ни того ни другого.

– Разве вы никогда не пробовали составить какие-либо суждения? – с некоторым раздражением поинтересовался он.

Глория отрицательно покачала головой и, снова устремив взгляд на танцующие пары, ответила:

– Не знаю. Понятия не имею, чем следует заниматься вам или всем остальным.

Глория его смутила, запутав ход мыслей. Никогда самовыражение не казалось ему столь желанным и совершенно невозможным.

– Ну хорошо, – извиняющимся тоном согласился Энтони. – Разумеется, я и сам не знаю, но...

– Я просто думаю о людях, – продолжила Глория. – На своем ли они находятся месте и вписываются ли в общую картину. И я не возражаю, если при этом они ничего не делают. Не понимаю, почему они должны чем-то заниматься. И вообще меня всегда удивляет, когда люди посвящают себя какой-то работе.

– То есть вы трудиться не желаете?

– Мне хочется спать.

Секунду он пребывал в полном замешательстве, поняв ее слова в буквальном смысле.

– Спать?

– Вроде того. Просто хочу жить в праздности и чтобы люди вокруг меня занимались какими-то делами, тогда я чувствую себя комфортно и уверенно. И пусть некоторые из них вообще ничего не делают, потому что они могут составить мне приятную компанию. Но у меня никогда не возникало желания изменить людей или переживать за них.

– Да вы оригинальная маленькая детерминистка, – рассмеялся Энтони. – И мир вам представляется таким, верно?

– Ну... – протянула Глория, поднимая глаза к потолку. – А разве он не такой? Пока я... молода.

Она немного помолчала перед заключительным словом, и Энтони подумалось, что сейчас она скажет «красива». Ведь именно это она и имела в виду.

Глаза девушки загорелись, и он ждал, что Глория станет развивать тему дальше. Все-таки ее удалось разговорить. Энтони даже слегка подался вперед, чтобы не пропустить ни слова.

Но она только предложила:

– Пойдемте потанцуем!

Восхищение

Зимний вечер в отеле «Плаза» стал первым в бесконечной веренице свиданий, проходивших в предрождественские дни, полные сумбурного оживления. Глория была вечно занята, и Энтони долго выяснял, какие именно события в светской жизни города влекут ее с такой силой. Оказалось, что девушка не отличается особой разборчивостью. Она посещала полуофициальные благотворительные мероприятия с танцами, которые устраивались в больших отелях, несколько раз они с Энтони встречались на званых обедах в «Шерри». А однажды, ожидая, пока Глория оденется, в промежутках между сетованиями миссис Гилберт по поводу постоянных отлучек дочери он узнал о ее восхитительных планах на праздничные дни, среди которых значилось с полдюжины танцевальных вечеров, куда был приглашен и Энтони.

Несколько раз он приглашал Глорию на ленч и чаепитие, но во время ленча встречи проходили второпях и не приносили удовлетворения, по крайней мере для Энтони. Девушка выглядела сонной и рассеянной, не могла сосредоточиться и с подобающим вниманием выслушать его излияния. Когда после двух таких скудных трапез Энтони обвинил Глорию в намерении уморить его голодом, она рассмеялась и осчастливила его тремя вечерними чаепитиями, которые доставили несравненно больше радости.

Однажды в воскресенье перед самым Рождеством он позвонил Глории и обнаружил, что та приходит в себя после некой серьезной и весьма загадочной ссоры. Гневным тоном, в котором прослушивались радостные нотки, она сообщила, что только что выставила из своей квартиры мужчину. При этом известии мозг Энтони лихорадочно заработал, теряясь в догадках. А

Глория уже докладывала, что этот самый мужчина устраивает сегодня вечером обед в ее честь, но она, разумеется, не пойдет. Таким образом, Энтони пригласил ее на ужин.

– Давайте куда-нибудь сходим, – предложила Глория, когда они спускались на лифте. – Хочется посмотреть представление. Вы не против?

При обследовании билетной кассы отеля выяснилось, что на воскресный вечер намечено всего два концерта.

– Все на один манер, – с несчастным видом посетовала Глория. – Опять те же престарелые еврей-комедианты. Давайте же куда-нибудь пойдем!

Стараясь заглушить чувство вины, что не сумел организовать представление, достойное одобрения Глории, Энтони с напускной веселостью предложил:

– Сходим в хорошее кабаре.

– Я уже побывала во всех, что есть в городе.

– А мы найдем что-нибудь новенькое.

Но было совершенно очевидно, что Глория пребывает в расстроенных чувствах, и сейчас ее серые глаза действительно уподобились граниту. Она молча смотрела перед собой, будто в вестибюле появилось нечто непонятное и омерзительное.

– Хорошо, идемте.

Энтони последовал за девушкой к такси. Даже укутанная в пушистые меха, она выглядела грациозной. С видом человека, точно знающего пункт назначения, он приказал таксисту ехать на Бродвей, а затем свернуть на юг. Он сделал несколько ненавязчивых попыток начать разговор, но Глория облачилась в непробиваемую броню безмолвия и в ответ бросала короткие угрюмые фразы, холодные, как полумрак, наполнявший нетопленное такси. Чувствуя, что его настроение тоже начинает портиться, Энтони оставил свои старания, погружаясь в мрачное молчание.

Кварталах в десяти дальше по Бродвею внимание Энтони привлекла большая незнакомая вывеска, на которой желтыми затейливыми буквами, украшенными цветами и листьями из электрических лампочек, сверкало название «Марафон». Лампочки вспыхивали и гасли, и их отблески отражались на мокрой мостовой. Энтони наклонился и постучал по стеклу водительской кабины. Уже в следующее мгновение он получал нужную информацию из уст темнокожего швейцара. Да, это действительно кабаре. Замечательное кабаре. Лучшее шоу в городе!

– Может, зайдём?

Глория со вздохом выбросила недокуренную сигарету в приоткрытую дверцу и приготовилась последовать за ней. Они прошли под кричащей вывеской через парадную дверь, и душная кабина лифта доставила их наверх, в этот никем не воспетый дворец наслаждений.

Беспечные пристанища несметного богатства и шокирующей нищеты, места, где собираются самые дерзкие и бесшабашные, вынырнувшие из глубин преступного мира, не говоря уже о представителях богемы, которые в последнее время их так полюбили. Объятые благоговейным трепетом старшеклассницы из Огасты в штате Джорджия и из Ред-Уинг в Миннесоте черпают информацию из красочно-увлекательных разворотов воскресных театральных приложений и постигают атмосферу подобных мест по потрясенно-тревожному настрою, наполняющему фильмы мистера Руперта Хьюза и прочих летописцев безумного темпа, в котором живет Америка. Однако эти набег Гарлема на Бродвей, сатанинские проказы тупоумных и разгульное веселье респектабельных являются прерогативой исключительно самих участников сего действия.

Молва не дремлет, и в заведении, о котором неоднократно и к месту упомянуто, по субботним и воскресным вечерам собираются представители класса, не обремененного строгой моралью: не озабоченные проблемами человечки, которых представляют в комиксах как «Клиента» или «Публику». Их присутствие подтверждает, что заведение соответствует трем признакам: оно дешевое, с убогой претензией скопировать сверкающую роскошь шикарных кафе

в театральном районе, и, что самое важное, здесь можно «снять симпатичную девушку». Разумеется, имеется в виду развлечение невинное и робкое, а по причине отсутствия денег и фантазии – попросту неинтересное.

Здесь по воскресным вечерам собираются доверчивые, сентиментальные, много работающие за низкую зарплату люди, чьи профессии состоят из двух слов: помощник бухгалтера, билетный кассир, управляющий делами, коммивояжер. Но чаще всего встречаются мелкие служащие: курьеры, почтовые и банковские работники, брокеры, бакалейщики. Им составляют компанию хихикающие, не в меру энергично жестикулирующие, умилительно претенциозные женщины. Вместе со своими спутниками они толстеют, рожают непомерно много детей и плавают, беспомощные и неудовлетворенные, по безрадостному и унылому морю отупляющей работы и разбитых надежд.

Низкопробные кабаре часто получают названия в честь пульмановских вагонов. Взять тот же «Марафон»! Их не сравнить со сладострастным шиком парижских кафе! Сюда сговорчивые патроны приводят своих «милашек», чьей изголодавшейся фантазии с трудом хватает, чтобы представить любовную сцену беззаботно веселой, игривой и даже слегка безнравственной. Вот это и есть жизнь! А до завтрашнего дня никому нет дела.

Никчемные люди!

Энтони и Глория сели и стали осматриваться по сторонам. За соседним столиком компания из четырех человек принимала в свои ряды другую компанию, состоящую из двух мужчин и девушки, которые явно пришли с опозданием. Манера поведения девушки вполне могла стать предметом изучения национальной социологии. Ей представляли незнакомых мужчин, и в этот момент она являла собой образец притворства. Словами и жестами и даже легким движением век девушка изо всех сил старалась показать, что принадлежит к классу, который пусть и незначительно, но все же выше тех людей, с которыми ей сейчас приходится иметь дело. Что совсем недавно она вращалась в более изысканных кругах и очень скоро окажется там снова. Девушка выглядела до болезненности утонченной в своей шляпке, модной в прошлом сезоне и украшенной фиалками, такими же претенциозными и фальшивыми, как она сама.

Энтони и Глория, словно зачарованные, смотрели на девушку. А та уселась за столик, всем видом давая понять, что оказывает заведению честь своим присутствием. «Для меня, – говорили ее глаза, – это всего лишь занимательная экскурсия в трущобы, вот и приходится маскироваться, прикрываясь снисходительными смешками и неловкими оправданиями».

Остальные женщины лезли вон из кожи, пытаясь создать впечатление, что хотя они и оказались в этой толпе, никакого отношения к ней не имеют. Посещать места подобного рода не в их правилах, а сюда заглянули просто потому, что местечко оказалось весьма кстати по пути. Все присутствующие в ресторане компании также старались выглядеть случайными посетителями... Однако кто знает? Все эти люди легко меняли социальное положение. Женщины зачастую сверх всякого ожидания выходили удачно замуж, а мужчины, как в противоречащей всякому здравому смыслу красивой рекламе, внезапно наживали огромное богатство, будто сами небеса протянули им благословенный рожок с мороженым. Но сейчас все они пришли сюда просто поесть, закрывая глаза на несвежие скатерти, которые в целях экономии менялись реже положенного, на случайный состав артистов кабаре и особенно на не слишком сдержанных на язык, фамильярных официантов. С первого взгляда было понятно, что они не слишком-то чтят начальство и того гляди подсядут за столик к кому-нибудь из посетителей.

– Вам здесь не нравится? Может, уйдем? – предложил Энтони.

Лицо Глории утратило хмурое выражение, и впервые за вечер она улыбнулась.

– Здесь чудесно, – призналась девушка, и ее искренность не вызвала сомнений.

Взгляд серых глаз с нескрываемым наслаждением блуждал по залу, то с ленивым любопытством, то настороженно, задерживаясь на каждой компании и тут же перебегая к следующему столику. А Энтони открывал новые достоинства ее профиля, полные живой прелести

движения губ, неповторимую красоту лица, всего облика и манер, благодаря которым Глория напоминала прекрасный цветок среди груды дешевых безделушек. При виде ее радости у Энтони перехватило дыхание, от нервного напряжения пересохло в горле, а на глаза навернулись слезы умиления. Зал погрузился в тишину. Фальшивые переливы скрипок и саксофонов, визгливый жалобный плач ребенка за соседним столиком, голос девушки в шляпке с фиалками – все постепенно меркло и удалялось, пока не исчезло совсем, подобно расплывчатым отражениям на натертом паркете. Они остались вдвоем. По крайней мере так казалось Энтони. Одни, бесконечно далеко от суеты и шума. Дышащее пленительной свежестью лицо Глории, несомненно, являло собой прозрачное отображение из мира хрупких загадочных теней, а покоившаяся на покрытой пятнами скатерти рука светилась перламутровой раковиной из далеких неведомых морей.

Внезапно наваждение рассеялось, словно унесенная ветром паутина, и зал снова принял Энтони в свои объятия. Голоса, лица, раздражающе яркий свет ламп над головой стали злобшей реальностью. Отчетливо ощущалось их с Глорией дыхание в унисон с покорной толпой, вздымание и опадание грудных клеток, вечная бессмысленная игра, перебрасывание одними и теми же словами и фразами – все это безжалостно обрушилось на Энтони, придавливая чувства удушающим бременем житейской круговерти. А потом послышался ее невозмутимый голос, и слова повисли в воздухе, как только что пригрезившееся Энтони видение.

– Мое место среди этих людей, – пробормотала Глория. – Я одна из них.

На мгновение ее признание показалось издевкой, нелепым парадоксом, обрушившимся на Энтони из бескрайнего замкнутого пространства, которым окружила себя Глория. Девушка все больше входила в экстаз, ее взгляд задержался на скрипаче с семитской внешностью, который покачивал плечами в такт самого популярного в том году фокстрота:

Нежной песенки мотив,
Ринг-а-тинг, линг-а-тинг,
Твой ласкает слух...

И снова из глубин хрупкой иллюзии, которую создала Глория, донесся ее голос, и слова девушки повергли Энтони в изумление, будто он услышал богохульство из уст младенца.

– Да, я на них похожа, такая же, как японские фонарики, гофрированная бумага или музыка, которую исполняет местный оркестр.

– Да вы просто юная идиотка! – с жаром воскликнул Энтони.

Глория лишь покачала золотистой головкой:

– Нет, я действительно одна из них... И вам следует это понять... Ведь вы меня совсем не знаете. – Девушка задумалась, скользнув взглядом по Энтони. На мгновение их глаза встретились, и Глория посмотрела на него с удивлением, будто не ожидала здесь встретить. – На мне налет того, что называется низким пошибом. Не знаю, откуда это взялось, но меня привлекают кричащие цвета, безвкусица и вульгарность. Да, мое место здесь. И эти люди оценили бы меня по достоинству и приняли такой, какая есть. Здешние мужчины могли бы в меня влюбиться, и я бы вызывала у них восхищение. А умники, с которыми приходится общаться, разбирают меня по косточкам и пытаются объяснить, почему я такая, а не иная.

Энтони вдруг страстно захотелось написать ее портрет, запечатлеть такой, какой видит сейчас и какой Глория уже никогда не будет, меняясь с каждой неумолимо ускользающей секундой.

– О чем задумались? – поинтересовалась Глория.

– Всего лишь о том, что реалиста из меня не получится, – признался Энтони и добавил: – Нет, только романтик способен сохранить то, что стоит беречь.

В глубинах изощренной природы Энтони зрело сознание, лишенное чего бы то ни было атавистического или неясного и вообще едва ли имеющее отношение к материальному миру. Сознание, полученное в наследство от настроенных на романтический лад умов из прошлых поколений, понимание того, что манера Глории разговаривать, ее случайно пойманный взгляд и поворот прелестной головки трогают до глубины души и вызывают волнение, которого он прежде никогда не испытывал. Просто становилось понятным назначение оболочки, в которую заключена душа Глории, – вот и все. Глория была сияющим солнцем, которое занимает весь небосклон и хранит свет, чтобы спустя вечность излить его во взгляде или обрывке фразы на ту часть в душе Энтони, что лелеет и бережет всю красоту и прелесть иллюзии.

Глава третья

Ценитель поцелуев

Еще в ранние студенческие годы, в бытность редактором «Гарвард Кримсон» Ричард Кэрамел испытывал желание писать. Но на выпускном курсе он поддался пресловутой иллюзии, что предназначением отдельных людей является «служение» и в сей мир они являются исключительно для осуществления некой туманной, наполняющей душу щемящей тоской цели. За выполнение этой миссии ждет либо награда на небесах, либо, на худой конец, чувство личного удовлетворения за стремление сотворить великое благо для как можно большего количества людей.

Такое настроение уже долгое время сотрясало американские колледжи. Как правило, все начинается в пору незрелых поверхностных впечатлений первого студенческого года, а иногда и со школьной скамьи. Преуспевающие проповедники, славящиеся эмоциональной актерской игрой, совершают обход университетов и, запугивая добродушных овечек, притупляя растущий интерес и пытливость ума, которые и являются целью любого образования, выкристаллизовывают таинственное осуждение греха, вновь и вновь обращаясь к детским преступлениям и «извечному злу, которое несут женщины». Озорная молодежь приходит на их лекции позабавиться и покурлесить, а застенчивые и робкие студенты глотают приятные на вкус пилюли, которые не представляли бы никакого вреда, пропиши их фермерским женам и благочестивым аптекарям, но которые превращаются в довольно опасное лекарство для будущих «вождей человечества».

У этого спрута хватило сил опутать цепкими щупальцами Ричарда Кэрамела и через год после окончания университета увлечь в нью-йоркские трущобы, где он убивал время вместе с суматошными итальянцами, работая секретарем в «Ассоциации по спасению молодых иммигрантов». Протрудившись там более года, Ричард стал уставать от повседневной рутины. Иммигранты прибывали неиссякаемым потоком: итальянцы, поляки, скандинавы, чехи, армяне – все с одними и теми же правонарушениями, одинаково уродливыми, отталкивающими лицами и таким же мерзким запахом. Правда, по истечении нескольких месяцев Ричарду уже казалось, что запах бьет в нос все сильнее, обогащаясь новыми разнообразными оттенками. Он так и не сформировал окончательного мнения относительно целесообразности этой службы, однако решение по поводу собственного в ней участия было принято окончательно и бесповоротно. Любой приятный молодой человек, в ушах которого еще звучали призывы очередной кампании по защите обездоленных, мог не хуже его справиться со спасением прибывшего из Европы отребья. А для Ричарда настало время заняться писательским трудом.

Жил он тогда при «Ассоциации молодых христиан» в деловой части города, но, расставшись с неблагодарным занятием по перевоспитанию иммигрантов, перебрался в жилые кварталы и сразу же получил место репортера в газете «Сан», где продержался в течение года, время от времени пописывая на сторону, что особого успеха не принесло. Но тут неудачное стечение обстоятельств положило конец его карьере газетчика. Как-то в феврале Ричарду поручили написать статью о параде кавалерийского эскадрона. Однако, испугавшись надвигающегося снегопада, он уснул перед горящим камином, а пробудившись, настроил складную статью, упомянув приглушенный топот конских копыт по свежевывающему снегу... Свое произведение он сдал в редакцию, а на следующее утро редактору отдела местных новостей прислали экземпляр газеты с нацарапанной в углу резолюцией: «Уволить автора этой писанины». Оказалось, в кавалерийском эскадроне тоже стало известно о грозящем снегопаде и парад перенесли на другой день. Спустя неделю Ричард приступил к работе над «Демоническим любовником».

В январе месяце, которому отведена роль понедельника года, нос Ричарда Кэрамела покрылся непреходящей, издевательски-зловещей синевой, вызывающей туманные ассоциации с адским пламенем, лижущим грешника. Книга была почти готова, и по мере непрерывного совершенствования она предъявляла все более высокие требования к самому автору, подавляя его и высасывая все силы, пока тот не превратился в изможденную и безвольную тень своего творения. Все надежды, сомнения и тщеславные помыслы Ричард Кэрамел изливал не только Энтони и Мори, но и первому встречному, которого удавалось заманить в слушатели. Он донимал визитами вежливых, но несколько сбитых с толку издателей и обсуждал роман со случайными собеседниками из Гарвардского клуба. А Энтони даже утверждал, что однажды воскресным вечером застал Ричарда в одном из темных уголков на промозглой и мрачной станции метро в Гарлеме, когда тот делился планами по переработке второй главы с грамотного вида билетным контролером. Последним доверенным лицом Ричарда Кэрамела стала миссис Гилберт, с которой они просиживали часами и вели яростный перекрестный огонь, то и дело перескакивая с дискуссии о билфизме на обсуждение вопросов литературы.

– Шекспир был билфистом, – утверждала миссис Гилберт с застывшей улыбкой на лице. – Да-да, билфистом! Это уже доказано.

В ответ на это заявление Дик с озадаченным видом хлопал глазами.

– И если ты читал «Гамлета», то не мог этого не заметить.

– Видите ли, он жил во времена, когда люди были легковерными и религиозными.

Но миссис Гилберт могла удовлетворить только полная победа.

– Разумеется. Но ведь билфизм – не религия, а научная теория, лежащая в основе всех религий. – Она одарила собеседника вызывающей улыбкой. Эта фраза остроумно выражала смысл ее веры. Само сочетание слов так прочно завладело умом дамы, что упомянутое утверждение уже не требовало дальнейших толкований. Можно предположить, что миссис Гилберт приняла бы любую идею, облаченную в столь блистательную формулировку, которая, пожалуй, и не являлась формулировкой как таковой, а представляла собой сведение к абсурду всех существующих доктрин.

В конце концов доходила очередь и до Дика, и уж тут он получал возможность блеснуть во всем великолепии.

– Вы, разумеется, слышали о новом направлении в поэзии. Нет? Речь идет о многочисленной группе молодых поэтов, которые отвергают прежние формы и у них неплохо получается. Так вот, своей книгой я намерен положить начало новой тенденции в прозе, в некотором роде осуществить ее возрождение.

– Уверена, что так и будет, – с сияющим видом поддержала миссис Гилберт. – Нисколько не сомневаюсь. В прошлый вторник я ходила к Дженни Мартин, что гадает по руке. Ну, ты знаешь, все сходят по ней с ума. Я рассказала, что мой племянник поглощен неким трудом, и гадалка сообщила радостную весть, что его, несомненно, ждет необыкновенный успех. А ведь она ни разу тебя не видела и даже имени не знает.

Издав подобающие для такого случая звуки, чтобы выразить изумление сим невероятным явлением, Дик подхватил предложенную миссис Гилберт тему и с ловкостью регулировщика дорожного движения направил ее по нужному пути.

– Я действительно увлечен работой, тетя Кэтрин, – подтвердил он. – Все друзья надо мной подтрунивают. О, я и сам вижу, что это смешно, но мне все равно. Думаю, человек должен научиться сносить насмешки. Но у меня имеются собственные убеждения, – завершил Дик с мрачным видом.

– Я всегда говорила, что у тебя древняя душа.

– Возможно. – Дик дошел до состояния, когда бороться дальше нет сил и остается только соглашаться. Да, должно быть, у него действительно душа старца, такая древняя, что насквозь

прогнила. Однако, представив эту абсурдную картину, Дик пришел в некоторое замешательство, и от повторенных про себя слов по спине пробежал неприятный холодок. Он предпочел поскорее сменить тему: – А где же моя утонченная кузина Глория?

– Где-то бегают неизвестно с кем.

Дик помолчал, что-то обдумывая, и его лицо скривилось в гримасу, которая изначально задумывалась как улыбка, но в конечном итоге превратилась в кислую мину, способную навести уныние на кого угодно.

– Думаю, мой друг Энтони Пэтч в нее влюблен, – изрек он наконец.

Миссис Гилберт встрепелась и, с небольшим опозданием изобразив сияющую улыбку, выдохнула шепотом свое знаменитое «Неужели?», как в пьесе с детективным сюжетом.

– Полагаю, что так, – с серьезным видом подтвердил Дик. – На моей памяти она первая девушка, с которой Энтони проводит так много времени.

– Ну да, конечно, – с наигранной беспечностью заметила миссис Гилберт. – Глория никогда не делится со мной своими тайнами. Такая скрытная! Между нами говоря, – она осторожно наклонилась к Дику, полная решимости доверить свое признание только Всевышнему и племяннику, – мне хочется, чтобы Глория наконец-то угомонилась.

Дик встал и принялся с озабоченным видом расхаживать по комнате. Маленький, энергичный, уже успевший округлиться молодой человек, нелепо засунувший руки в оттопыренные карманы.

– Заметьте, я не берусь ничего утверждать, – обратился он к висевшей с незапамятных времен на стене отеля гравюре, которая чинно усмехнулась в ответ. – Я не говорю ничего, что стало бы для Глории новостью. Однако считаю, что наш безрассудный Энтони весьма и весьма к ней неравнодушен. Только о ней и говорит. У любого другого это считалось бы дурным признаком.

– У Глории совсем юная душа, – с воодушевлением произнесла миссис Гилберт, но племянник поспешно ее перебил:

– Глория действительно окажется юной дурочкой, если не выйдет за него замуж. – Он остановился и посмотрел тетушке в глаза. От напряжения лицо Дика невероятным образом исказилось, напоминая в тот момент карту боевых действий, испещренную линиями и вмятинами от карандаша. Слово желая искупить искренностью неучтивые слова, он продолжил: – Тетя Кэтрин, Глория – сумасбродка, она совершенно неуправляема. Не знаю, как случилось, но в последнее время ее окружает множество весьма странных друзей. А ее это, кажется, не беспокоит. Мужчины, с которыми кузину прежде видели в Нью-Йорке, были... – Дик замолчал, переводя дыхание.

– Да-да-да, – отозвалась миссис Гилберт, делая слабую попытку скрыть живейший интерес к словам Ричарда.

– Так вот, – угрюмо продолжил Ричард Кэрмел, – мы и получили то, что видим. Я хочу сказать, мужчины, да и вообще все люди, с которыми она встречалась раньше, принадлежали к высшим слоям общества, а теперь все изменилось.

Миссис Гилберт часто заморгала, ее грудь всколыхнулась, делая вдох, и на мгновение замерла, а на выдохе из уст дамы выплеснулся нескончаемый поток слов. Да, ей все известно. О, мать не может не заметить подобных вещей, изливала душу надрывным шепотом миссис Гилберт. Но что ей оставалось? Ведь Ричард знает характер Глории и достаточно давно с ней знаком, а потому понимает полную безнадежность любых попыток вразумить кузину. С самого детства Глория страшно избалована, и с ней нет никакого счастья. К примеру, ее до трех лет кормили грудью, хотя к тому времени она могла разгрызть дерево. Хотя как знать – может, именно благодаря этому девочка отличается крепким здоровьем и выносливостью. А потом, едва Глории исполнилось двенадцать лет, просто не стало прохода от мальчиков. В шестнадцать она стала ходить на танцы, сначала в школы, потом в колледжи, и где бы ни появилась, всюду ее

окужали мальчишки, мальчишки... толпы мальчишек. Поначалу, лет до восемнадцати, их было так много, что казалось, Глория не делает между ними различия, но потом она стала выбирать.

Миссис Гилберт знала о ряде увлечений дочери за прошедшие три года, наверное, их было около дюжины. Порой кавалерами Глории становились студенты выпускных курсов или юноши, только что закончившие учебу. Каждый роман длился несколько месяцев, а в промежутках вклинивались новые короткие увлечения. Пару раз отношения принимали более длительный характер, и мать надеялась, что Глория вот-вот объявит о помолвке, но вскоре появлялся очередной поклонник, потом еще один, и так без конца...

Мужчины? Да Глория буквально втаптывала их в грязь! Лишь одному удалось сохранить подобие достоинства, да и тот был совсем еще ребенком. Картер Керби из Канзас-Сити. Самонадеянный юнец, но именно тщеславие его и спасло. В один прекрасный день он просто уехал с отцом в Европу. А остальные представляли собой жалкое зрелище. Юноши не чувствовали, что начинают надоедать Глории, а она редко кого обижала намеренно. И они продолжали звонить, забрасывали письмами, искали встречи, ездили за ней по всей стране. Некоторые избрали миссис Гилберт своим доверенным лицом и со слезами на глазах уверяли, что никогда не смогут оправиться от нанесенного Глорией удара... Правда, по крайней мере двое из них уже женаты. Однако в большинстве случаев дочь сражала наповал. И по сей день мистер Карстерс раз в неделю звонит и присылает цветы, которые Глория уже устала отсылать обратно.

Несколько раз, насколько известно миссис Гилберт, это случалось дважды, дело доходило до негласной помолвки... с Тюдором Бэрдом и молодым Холкомом из Пасадены. Да, несомненно, так и было... пожалуй, кое о чем не стоит говорить, но все же... однажды миссис Гилберт неожиданно зашла в комнату и застала Глорию... ну, дочь вела себя так, как будто действительно была помолвлена. Разумеется, она ничего не сказала Глории, ведь ей не чуждо чувство такта, а кроме того, всякий раз со дня на день ожидалось официальное объявление помолвки. Но никакого объявления не последовало, а вместо него появился очередной кавалер.

Какие устраивались сцены! Молодые люди метались по библиотеке, словно тигры в клетке! Испепеляли друг друга взглядами, встречаясь в коридоре, когда один уходил, а другой только заходил в дом! А охваченные отчаянием юноши, когда в ответ на телефонный звонок бросали трубку! От расстройства они грозили уехать в Южную Америку! Какие трогательные и проникновенные сочинялись письма! (Миссис Гилберт не стала вдаваться в подробности, но Дику показалось, что некоторые из упомянутых посланий она видела воочию.)

...И Глория, то в слезах, то заливаясь смехом, переходила от печали к радости, влюблялась и охладевала, выглядела несчастной, нервничала или оставалась равнодушной. Без конца возвращала подарки и меняла фотографии в древних рамках, а потом принимала горячую ванну, и все начиналось заново... со следующим претендентом на руку и сердце.

Такое положение дел приобрело постоянный характер и, казалось, будет продолжаться вечно. Ничто не тревожило Глорию, не меняло ее характера и не трогало. И вдруг громом среди ясного неба прозвучало высказанное матери признание, что студенты ей надоели и на танцевальные вечера в колледже она больше не пойдет.

И с этого момента начались перемены, которые, впрочем, не слишком отразились на привычках Глории, так как свиданий и танцев в ее жизни не стало меньше. Однако отношение к свиданиям в корне изменилось. Раньше они являлись в определенном смысле предметом гордости, средством потешить тщеславие. Глория, похоже, была самой знаменитой и модной из юных красавиц по всей стране. Подумать только, Глория Гилберт из Канзас-Сити! И она упивалась плодами своей славы, используя ее самым немилосердным образом. Наслаждалась видом толпившихся вокруг мужчин и стараниями самых достойных из них завоевать ее благосклонность. Глорию приводила в восторг неистовая ревность других девушек и радовали невероятные, если не сказать скандальные слухи, ходившие вокруг ее имени, которые, впро-

чем, по словам матери, не имели под собой почвы. Например, поговаривали, что однажды на вечеринке в Йельском университете она нырнула в бассейн в шифоновом бальном платье.

И вдруг после свойственного скорее мужчине упоения подобным образом жизни – а ее взлет был сродни головокружительной блестящей карьере – Глория ударилась в эстетство и стала стремиться к уединению. Она, безраздельно царившая на бесчисленных балах, пролетевшая по всем танцевальным залам в сиянии благоуханного ореола в сопровождении нежных взглядов, вдруг потеряла к этому всякий интерес. Очередной влюбленный поклонник был решительно и даже с гневом отвергнут. Теперь равнодушную ко всему Глорию видели в обществе самых заурядных мужчин. У девушки вошло в привычку не являться на свидания, и если в прежние времена она поступала так, свято веря в собственную неотразимость, ради которой оскорбленный мужчина прибежит по первому зову, как комнатная собачонка, то теперь Глория не испытывала ни презрения, ни гордости от одержанной победы. Только полное безразличие. Она редко обрушивала гнев на мужчин, которые не вызывали ничего, кроме зевоты. Такое поведение выглядело странным, и матери стало казаться, что Глория постепенно утрачивает способность испытывать какие-либо чувства.

Поначалу Ричард Кэрамел слушал стоя. Однако по мере того как исповедь тетушки обрастала все новыми подробностями – здесь она урезана вполювину за счет бесконечных отступлений, касающихся юной души Глории и страданий, пережитых самой миссис Гилберт, – он придвинул стул. Теперь, уже сидя, Дик с суровым видом наблюдал, как течение несет ее по длинной повести о жизни дочери, заставляя то обливаться слезами, то демонстрировать достойную жалости беспомощность. Когда дело дошло до сказания о последнем злополучном годе и окурках, разбросанных по всему Нью-Йорку в пепельницы, на которых красовалось клеймо таких заведений, как «Полуночные забавы» и «Клуб Джастины Джонсон», Ричард стал кивать, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Наконец миссис Гилберт завершила повествование раскатистым стаккато, а голова Дика к тому времени подпрыгивала вверх и вниз, как у куклы на пружинах, и истолковать эти движения можно было как угодно.

О прошлом Глории он не узнал ничего нового. Ричард давно наблюдал за ее жизнью глазами журналиста, так как собирался когда-нибудь написать о кузине книгу. В данный же момент Дика занимали интересы семьи. В частности, Кэрамел хотел знать, кто такой пресловутый Джозеф Блокмэн, с которым Глорию видели несколько раз, а также некие две девицы, ставшие ее неразлучными подругами. «Эта» Рейчел Джеррил и «эта» мисс Кейн. Что до мисс Кейн, она определенно не самая подходящая компания для Глории!

Однако удобный момент был упущен. Миссис Гилберт, достигнув апогея своего повествования, намеревалась стремительно скользить вниз по крутому трамплину, ведущему к трагической развязке. Ее глаза напоминали синее небо, на которое смотришь через два круглых оконца с красными переплетами. Складки вокруг рта жалобно вздрагивали.

Именно в этот момент дверь распахнулась, впуская в комнату двух упомянутых выше юных особ.

Две юные дамы

– Вот и мы!

– Здравствуйте, миссис Гилберт!

Мистеру Ричарду Кэрамелу представляют мисс Кейн и мисс Джеррил.

– Знакомьтесь, это Дик (слышится смех).

– Я столько о вас слышала, – заявляет мисс Кейн, переходя с хихиканья на визг.

– Здравствуйте, – застенчиво приветствует Ричарда мисс Джеррил.

Ричард Кэрамел без устали перемещается по комнате в надежде скрыть недостатки фигуры. Его раздражают противоречивые чувства: с одной стороны, хочется проявить врожден-

ную любезность, но с другой – этих девушек он считает заурядными особами, не имеющими ничего общего с типом женщин, учившихся в Фармоувере.

Тем временем Глория удалилась в спальню.

– Да садитесь же! – Миссис Гилберт, которая уже успела прийти в себя, лучезарно улыбается. – Снимите теплые вещи.

Дик боится, что сейчас она примется делать замечания по поводу возраста его души, но тут же забывает о своих опасениях и с добросовестной дотошностью романиста изучает обеих молодых женщин.

Мюриэл Кейн происходила из стремительно богатеющей семьи из Ист-Оранджа, штат Нью-Джерси. Девушка была скорее низенькой, чем миниатюрной, а ее фигура дерзко балансировала на грани, отделяющей приятную округлость от не радующей глаз полноты. Черные волосы, тщательно уложенные в прическу, в сочетании с красивыми, как у коровы, глазами и неестественно красными губами делали ее похожей на Теду Бара, известную киноактрису. Люди не раз называли Мюриэл «женщиной-вамп», и она верила их словам. Мисс Кейн втайне надеялась, что окружающие ее боятся, и всеми силами и при любых обстоятельствах старалась создать впечатление опасной роковой красавицы. Однако наделенный воображением мужчина мог без труда разглядеть красный флаг, который Мюриэл всегда держала при себе, с отчаянной мольбой размахивая им во все стороны. К несчастью, без сколько-нибудь ощутимого результата. Кроме того, она была страшно современной девушкой, знала абсолютно все новые песенки и, когда одну из них проигрывали на патефоне, тут же вскакивала на ноги и, покачивая в такт плечами, начинала прищелкивать пальцами. Если музыка отсутствовала, Мюриэл сопровождала себя, напевая знакомый мотив.

Ее речь также соответствовала духу времени. «Мне плевать, – говаривала Мюриэл. – Была охота переживать да фигуру портить. Ах, беби! Как услышу эту музыку, ноги сами пускаются в пляс!»

Вычурно-длинные ногти девушки отполированы до неестественного, лихорадочно-розового блеска. Одежда слишком облегающая, чересчур модная и яркая, глаза не в меру плутоватые, а улыбка очень уж жеманная. И вся она с головы до ног состоит из сплошных излишеств, являя собой зрелище, достойное жалости.

Вторая девушка казалась натурой более утонченной. Темноволосая, изысканно одетая еврейка с прелестной молочно-белой кожей. Она выглядела застенчивой и неуверенной, и два этих качества подчеркивали окружавшее ореолом нежное очарование. Она происходила из семьи, принадлежащей епископальной церкви, которая владела тремя магазинами модной женской одежды на Пятой авеню и проживала в шикарной квартире на Риверсайд-драйв. Спустя несколько минут у Дика создалось впечатление, что девушка пытается копировать Глорию, и он удивился в душе, почему люди непременно хотят походить на тех, кому подражать невозможно.

– Ох, еле добрались! Думали, не переживем! – возбужденно тараторила Мюриэл. – За нами в автобус зашла какая-то ненормальная! Все бормотала, как она собирается с кем-то расправиться. От страха я боялась пошевелиться, а Глория уперлась и никак не хотела выходить из автобуса.

Миссис Гилберт открыла рот, выражая благоговейный ужас.

– Неужели?

– Нет, правда, тронутая. Слава Богу, на нас не набросилась. А какая уродина! Боже правый! Мужчина напротив сказал, что с такой физиономией надо работать ночной сиделкой в приюте для слепых. Мы просто рыдали от смеха, а он надумал за нами волочиться.

В этот момент из спальни вышла Глория, и все взгляды устремились на нее. Обе девушки вдруг отошли в тень, превратившись в незаметный фон.

– А мы вот о тебе беседовали, – торопливо сообщил Дик, – с твоей матерью.

– Ну что ж!.. – бросила Глория.

Наступила короткая пауза, которую нарушила Мюриэл.

– Вы ведь великий писатель, так? – обратилась она к Дик.

– Я – писатель, – скромно подтвердил Дик.

– Я вот думаю, – серьезно начала Мюриэл, – если бы у меня хватало времени записывать все свои приключения, вышла бы замечательная книга.

Рейчел сочувственно хихикнула, Ричард Кэрамел с величественным видом наклонил голову, а Мюриэл не унималась:

– Только не возьму в толк, как это можно сесть и что-то написать? А стихи! Да я и двух строк не зарифмую. Ну и ладно, наплевать!

Ричард Кэрамел с трудом сдерживал хохот, а Глория жевала невесть откуда взявшуюся желатиновую пастилку, с унылым видом глядя в окно. Миссис Гилберт откашлялась, и ее лицо озарила сияющая улыбка.

– Видите ли, – изрекла она тоном человека, делающего мировое открытие, – вы не обладаете древней душой, как Ричард.

Древняя Душа вздохнул с облегчением – наконец-то долгожданные слова прозвучали.

Вдруг Глория объявила как о деле давно решенном:

– Я собираюсь устроить званый вечер.

– Ой, а меня пригласишь? – с шутилой дерзостью выкрикнула Мюриэл.

– Обед на семь человек: Мюриэл, Рейчел, я, ты, Дик, Энтони и этот парень по имени Ноубл. Он мне нравится. А еще Блокмэн.

Мюриэл и Рейчел выражали восторг тихим урчанием, миссис Гилберт моргала и лучезарно улыбалась, и тут Дик с небрежным видом задал давно не дававший покоя вопрос:

– Скажи, Глория, а кто этот Блокмэн?

Уловив в его тоне скрытую враждебность, Глория быстро повернулась к кузену:

– Джозеф Блокмэн? Да он из киношников. Вице-президент компании «Филмз пар экселенс». У них с отцом общие дела.

– Ах вот оно что!

– Так вы все придете?

Разумеется, придут все. Дату назначили за неделю. Дик поднялся с места и, облачившись в пальто, шляпу и шарф, изобразил на лице улыбку, обращенную ко всем присутствующим.

– Пока-пока! – весело помахала рукой Мюриэл. – Позвоните мне как-нибудь.

Ричарду стало стыдно за девушку, и он покраснел.

Бесславный конец шевалье О'Кифи

Наступил понедельник, и Энтони повел Джеральдин Берк обедать в «Боз-ар», после чего они отправились к нему на квартиру. Энтони выкатил маленький столик на колесах и, изучив хранившийся там запас спиртного, выбрал в качестве бодрящего средства вермут, джин и абсент.

Джеральдин Берк, работавшая билетершей у Китса, уже в течение нескольких месяцев скрашивала жизнь Энтони. Малышка требовала так мало, что Энтони к ней искренне привязался, так как после досадного случая с одной из дебютанток прошлым летом, когда после нескольких поцелуев от него ожидалось предложение руки и сердца, к девушкам своего круга стал относиться подозрительно. Его критический взгляд тут же отмечал все изъяны, будь то отсутствие внешнего изящества или недостаточная утонченность натуры. Но к простолюдинке, служившей билетершей у Китса, отношение совсем иное. Можно смириться с некоторыми особенностями характера у собственного лакея, но те же слабости совершенно непростительны

для людей, которые стоят с тобой на одной ступени. Джеральдин, свернувшись калачиком у дивана, искоса поглядывала на Энтони, прищулив глаза.

– Ты ведь постоянно пьешь, верно? – неожиданно поинтересовалась она.

– Ну, в общем, да, – откликнулся Энтони, удивляясь заставшему врасплох вопросу. – А ты разве не пьешь?

– Нет. Ты же знаешь, иногда хожу на вечеринки раз в неделю, но выпиваю бокала два или три. А ты с приятелями пьешь не просыхая. По-моему, так и здоровье загубить недолго.

Слова Джеральдин растрогали Энтони.

– Значит, беспокоишься обо мне? Как мило с твоей стороны!

– Вот именно, беспокоюсь.

– Да не так уж много я и пью, – признался он. – Вот в прошлом месяце капли в рот не брал целых три недели. И вообще набираюсь по полной не чаще раза в неделю.

– Каждый день хоть чуть-чуть, да приложишься. А ведь тебе всего двадцать пять. Неужели нет никакой цели в жизни? Представь только, во что превратишься в сорок лет!

– Искренне надеюсь, что не протяну так долго.

Девушка только зацокала языком.

– Ну, ты спя-я-я-тил! – протянула она, смешивая очередной коктейль, и тут же спросила: – А вы, случайно, не родственники с Адамом Пэтчем?

– Он мой дед.

– Правда? – Девушка была явно заинтригована.

– Чистая правда.

– Забавно. Мой отец у него работал.

– Чудаковатый старик.

– А он добрый?

– Ну, в личной жизни он редко бывает противным без особой надобности.

– Расскажи о нем.

– Ну, что сказать, – задумался Энтони, – он весь высох, а на голове остатки седых волос, и кажется, что их растрепало ветром. Высоконравственный человек, что и говорить.

– И сделал много добра, – серьезно заявила Джеральдин.

– Вздор! – презрительно хмыкнул Энтони. – Благочестивый болван с куриными мозгами.

Джеральдин предпочла переключиться на другую тему:

– А почему ты с ним не живешь?

– А может, сразу податься в служки к пастору методистской церкви?

– Ну, ты спя-я-я-тил!

В знак неодобрения девушка снова цокнула языком. А Энтони удивился, сколько нравственной силы в душе этой маленькой бродяжки. Но что останется от моральных устоев, когда неумолимо надвигающаяся волна смывает ее с зыбкого островка респектабельности?

– Ты его ненавидишь?

– Да как сказать. Особой любви к нему никогда не питал. Никто не любит своих благодетелей.

– А он тебя ненавидит?

– Милая Джеральдин, – запротестовал Энтони, шутливо хмуря брови, – лучше сделай себе еще один коктейль. Я раздражаю деда. Стоит закурить сигарету, как он заходит в комнату и начинает недовольно сопеть носом. Он самодовольный зануда и порой лицемер. Я не стал бы пускаться с тобой в откровения, если бы предварительно не выпил. Да и какое это имеет значение.

Однако интерес Джеральдин ничуть не ослаб. Так и не пригубив бокал, девушка держала его большим и указательным пальцами, а в устремленном на Энтони взгляде сквозил благоговейный страх.

– Почему ты считаешь деда лицемером?

– Ну, может, и не лицемер, – согласился Энтони, теряя терпение. – Но ему не по душе все, что я люблю, да и вообще, на мой взгляд, личность деда не представляет никакого интереса.

Джеральдин лишь хмыкнула в ответ. Похоже, она наконец удовлетворила свое любопытство и снова забила в уголок дивана, принявшись за коктейль.

– Да ты чудак, – задумчиво подытожила девушка. – И видимо, всем хочется за тебя замуж из-за богатого деда...

– Ну, не всем, хотя я не рискнул бы ставить им в вину подобное желание. И знаешь, я вообще не собираюсь жениться.

Джеральдин пропустила его слова мимо ушей.

– Однажды ты влюбишься. О, я точно знаю. – Она с умудренным видом покивала головой.

– Какой идиотизм с моей стороны вести откровенные беседы. Именно это и погубило шевалье О'Кифи.

– А это кто такой?

– Плод моего блестящего ума. Да, шевалье – мое единственное творение.

– Ну, ты спя-я-я-тил! – протянула Джеральдин с очаровательным видом, используя любимую фразу как грубую веревочную лестницу, с помощью которой преодолевала все пропасти, карабкаясь за людьми, превосходящими ее умом. Подсознательно она чувствовала, что это средство уничтожает любые преграды и возвращает в пределы досягаемости ускользающее от Джеральдин воображение собеседника.

– Ох, нет, Джеральдин! – запротестовал Энтони. – Только не относись к шевалье как психиатр, удостоверяющий вменяемость преступника. Если чувствуешь, что не способна его понять, я и начинать не стану. Кроме того, я уже и так испытываю неловкость по поводу его достойной сожаления репутации.

– Думаю, я способна понять все, что имеет хоть какой-то смысл, – с легкой досадой возразила Джеральдин.

– В таком случае некоторые эпизоды из жизни шевалье могут показаться занимательными.

– И что дальше?

– Именно безвременная кончина шевалье навела меня на мысль упомянуть о нем в разговоре. Крайне неприятно начинать знакомство со смерти, но, похоже, шевалье суждено войти в твою жизнь, пятясь назад. Этого не избежать.

– Так что с ним стряслось? Умер, что ли?

– Именно так! И вот как это случилось! Он был ирландцем, Джеральдин. Одним из ставших легендой ирландцев с неистовым нравом, певучим акцентом и «огненной шевелюрой». На закате рыцарства его изгнали из Ирландии, и, разумеется, он направился во Францию. Видишь ли, Джеральдин, у нас с шевалье О'Кифи имелась одна общая слабость. Он сверх всякой меры был подвержен влиянию женщин всех народностей и сословий.

Кроме того, шевалье принадлежал к натурам сентиментальным, склонным к романтизму и тщеславию. Человек безумных страстей, чуть подслеповатый на один глаз и почти слепой на второй. Мужчина, странствующий по свету в подобном состоянии, так же незащищен, как потерявший зубы лев. И как следствие, в течение двадцати лет шевалье терпел издевательства со стороны многочисленных женщин, которые его ненавидели, использовали, надоедали и изводили, одаривали различными болезнями, тратили его деньги и дурачили всеми способами. Одним словом, как говорят в миру, любили его.

Дело обстояло скверно, Джеральдин. И шевалье, который, не считая единственной упомянутой слабости, был человеком целеустремленным, решил раз и навсегда избавиться от всех утрат и убытков. С этой целью он отправился в знаменитый монастырь, находившийся в Шам-

пани, который носил... несколько устаревшее название в честь Святого Вольтера. В монастыре Святого Вольтера существовало правило, запрещавшее монахам в течение всей жизни спускаться на нижний этаж. Им надлежало предаваться молитвам и размышлениям в одной из четырех башен, получивших названия по четырем заповедям монастырского устава: Бедность, Целомудрие, Покорность и Безмолвие.

В день, знаменующий прощание шевалье с грешным миром, он чувствовал себя абсолютно счастливым. Греческие книги подарил хозяйке, у которой снимал жилье, свой меч в золоченых ножнах отослал королю Франции, а все вещи, напоминавшие об Ирландии, отдал молодому гугеноту, торговавшему рыбой на той улице, где жил шевалье О'Кифи.

Затем он отправился верхом в монастырь Святого Вольтера, у ворот обители заколол коня и презентовал тушу монастырскому повару.

В пять часов вечера он впервые в жизни почувствовал себя свободным от зова плоти. Ни одна женщина не могла переступить порог монастыря, и ни одному монаху не разрешалось спускаться ниже второго этажа. Взбираясь по винтовой лестнице в отведенную ему на самом верху башни Целомудрие келью, шевалье на минуту задержался у открытого окна. Оно выходило на дорогу в пятидесяти футах от земли. О'Кифи поразила красота мира, который предстояло покинуть. Золотой дождь солнечных лучей, заливающий бескрайние поля, темнеющая вдалеке дымка леса, умиротворенно зеленеющие виноградники и простирающееся без конца и края наполненное свежестью пространство. Он облокотился на подоконник и застыл на месте, всматриваясь в извивающуюся внизу дорогу.

И надо же было случиться, что именно в тот самый момент по дороге мимо монастыря проходила шестнадцатилетняя крестьянка Тереза из соседней деревни. Пятью минутами раньше старенькая ленточка, поддерживающая чулок на прелестной левой ножке, оборвалась. Будучи девушкой на редкость скромной, она поначалу решила дойти до дома и уж там починить ленточку. Но идти было так неудобно, что терпеть дольше не хватило сил. И вот, проходя мимо башни Целомудрие, девушка остановилась и полным очарования движением, справедливости ради отметим, совсем чуть-чуть приподняла юбку. Просто чтобы поправить подвязку.

А наверху в башне новоиспеченный послушник древнего монастыря Святого Вольтера, словно подталкиваемый неумолимой гигантской рукой, свесился из окна. Он наклонялся все дальше и дальше, и вдруг один из камней, не выдержав тяжести, с мягким стуком выпал из кладки. Сначала головой вперед, потом вперед ногами и наконец, распластавшись в головокружительном вращении, кувыркался в воздухе шевалье О'Кифи, неуклонно стремясь навстречу твердой земле и вечному проклятию.

Терезу так расстроило это событие, что оставшийся путь до дома она проделала бегом, а последующие десять лет каждый день по часу тайно молилась за душу монаха, который в тот злополучный воскресный день нарушил данный обет и сломал себе шею.

Заподозренного в самоубийстве шевалье О'Кифи не разрешили похоронить в освященной земле и закопали поблизости в поле, где он в последующие годы несомненно улучшил качество почвы. Вот такой была безвременная кончина сего отважного и галантного джентльмена. Ну, что скажешь, Джеральдин?

Однако Джеральдин давно упустила нить повествования и лишь, проказливо улыбаясь, погрозила ему пальцем, а затем протянула спасительное и всеобъемлющее:

– Ну, ты спя-я-я-тил!

Мысли девушки занимало тонкое лицо Энтони, которое казалось добрым, а глаза смотрели так ласково. Он нравился Джеральдин, потому что в его высокомерии не было самодовольства, и в отличие от мужчин, которых она встречала в театре, Энтони приходил в ужас, когда его персона привлекала внимание. Какая странная и бессмысленная история! Однако ей пришлось по душе место, где рассказывалось о чулках.

После пятого коктейля Энтони принялся целовать девушку, и так за смехом и шутиливыми ласками, сдерживая огонь страсти, они провели час. В половине пятого Джеральдин заявила, что у нее назначена встреча, и отправилась в ванную приводить в порядок растрепавшиеся волосы. Она отказалась от предложения Энтони вызвать такси и на минуту задержалась в дверях.

– Ты непременно женишься, – уверенно заявила Джеральдин. – Погоди, сам увидишь.

Энтони вертел в руках старый теннисный мяч и, ударив им об пол несколько раз, язвительно усмехнулся:

– Ты просто маленькая идиотка, Джеральдин.

В ответ девушка задорно улыбнулась:

– Неужели? Может, поспорим?

– Ну уж это полная глупость.

– Разумеется, как же иначе. И все-таки держу пари, что в течение года ты непременно на ком-нибудь женишься.

Энтони с силой ударил мячом об пол, и девушка подумала, что сегодня он особенно красив. Вместо обычного меланхоличного выражения в темных глазах светилось оживление.

– Послушай, Джеральдин, – изрек он наконец, – во-первых, нет на свете женщины, на которой бы мне хотелось жениться; во-вторых, у меня не хватит денег, чтобы содержать нас двоих; в-третьих, таким, как я, женитьба вообще решительно противопоказана; и наконец, в-четвертых, одна мысль о ней вызывает у меня глубочайшее отвращение.

Но Джеральдин только с умудренным видом сощурила глаза и, цокнув в очередной раз языком, заявила, что ей надо торопиться, потому что уже очень поздно.

– Смотри же, позвони мне, – напомнила она, целуя Энтони на прощание. – В прошлый раз ты куда-то пропал на три недели.

– Непременно позвоню! – с жаром пообещал Энтони.

Закрыв за девушкой дверь, он вернулся в комнату и некоторое время стоял, погруженный в мысли, по-прежнему сжимая в руке теннисный мячик. Надвигалось очередное одиночество, один из периодов, когда Энтони бесцельно бродил по улицам или просто сидел подавленный за письменным столом и грыз карандаш. Это был уход в себя, не приносивший успокоения, неутоленная потребность выразить свои чувства, ощущение времени, проносащегося впустую мимо. Утешала лишь уверенность, что терять-то нечего, так как все усилия и достижения ничего не стоят.

Энтони чувствовал себя уязвленным и сбитым с толку. В сердцах он выплеснул свои эмоции вместе со словами, произнесенными вслух:

– Господи, да я и не думал о женитьбе!

Внезапно Энтони резким движением швырнул мяч через всю комнату, и тот, едва не угодив в лампу, подпрыгнул несколько раз и замер на полу.

Солнечный свет и лунное сияние

Для званого ужина Глория заказала столик в «Каскадах» отеля «Билтмор», и когда приглашенные джентльмены встретились в начале девятого в холле, «этот тип Блокмэн» тут же попал под обстрел трех пар мужских глаз. Он оказался склонным к полноте евреем лет тридцати пяти, с выразительным румяным лицом в обрамлении гладких рыжеватых волос. Вне всякого сомнения, на деловых встречах этот человек производил самое благоприятное впечатление. Блокмэн направился к трем молодым людям, которые курили в сторонке в ожидании хозяйки вечера, и представился, проявляя несколько чрезмерную самоуверенность. Трудно сказать, заметил ли Блокмэн демонстративный ироничный холодок в свой адрес. Во всяком случае, по его поведению понять это не представлялось возможным.

– А вы, случайно, не в родстве с Адамом Пэтчем? – обратился он к Энтони, выпуская из ноздрей две тонкие струйки дыма.

В ответ по лицу Энтони пробежала тень улыбки.

– Замечательный человек, – убежденно изрек Блокмэн. – Великолепный образец истинного американца.

– Разумеется, – согласился Энтони. – Вне всякого сомнения, так оно и есть.

«Как же я ненавижу этих типов, похожих на полусырое блюдо, – подумал Энтони с холодным раздражением. – Строят из себя хозяев жизни, а на самом деле взять бы, да и засунуть их обратно в печь на пару минут, чтобы довести до нужной кондиции!»

Блокмэн бросил взгляд на часы:

– Пора бы и барышням появиться...

От возмущения у Энтони перехватило дыхание. Ну, уж это выходит за всякие рамки...

– ...впрочем, – широко улыбнулся Блокмэн, – всем известно, что с женщинами всегда так.

Трое молодых людей согласно кивнули в ответ, а Блокмэн стал рассеянно осматриваться по сторонам. Его придирчивый взгляд задержался на потолке, а потом скользнул вниз. Выражением лица он напоминал фермера со Среднего Запада, оценивающего урожай пшеницы, или актера, которому не терпится выяснить, наблюдают ли за ним в данный момент. Впрочем, все благовоспитанные американцы ведут себя на людях подобным образом. Завершив обзор, он стремительно повернулся к неразговорчивой троице, полный решимости поразить юношей в самое сердце.

– Вы, вероятно, студенты? Из Гарварда, верно? Я видел, как ребята из Принстона побили ваших товарищей в хоккейном матче.

Бедолага. Снова промазал мимо цели. Молодые люди окончили университет три года назад и теперь следили только за крупными футбольными матчами. Не представляется возможным установить, понял ли Блокмэн после очередной неудачной остроты, что стал мишенью презрительных насмешек, так как...

В этот момент прибыла Глория. А за ней Мюриэл и наконец Рейчел. «Привет всем!» – торопливо бросила Глория, и обе девушки эхом повторили ее слова, после чего все три скрылись в туалетной комнате.

Минутой позже снова появилась Мюриэл в продуманном до мелочей наряде, который открывал гораздо больше, чем скрывал, и крадущейся походкой направилась к мужчинам. Она была в своей стихии: черные волосы гладко зачесаны назад, глаза ярко подведены, а следом тянется шлейфом резкий запах крепких духов. Девушка изо всех сил старалась изобразить сирену или, попросту говоря, «роковую красавицу», покорительницу мужских сердец, безжалостно отвергающую надоевших поклонников, не гнушающуюся никакими средствами в достижении цели и равнодушно играющую чужими страстями. Эта женщина с пышными бедрами и неумным стремлением походить на грациозную пантеру пленила Мори с первого взгляда. Пока еще несколько минут ждали Глорию, а заодно, по законам вежливости, вместе с ней и Рейчел, Мори был не в силах отвести от Мюриэл взгляд. А та вдруг отвернулась и, опустив ресницы, прикусила нижнюю губку, демонстрируя крайнее смущение. Упершись руками в бедра, она принялась покачиваться в такт мелодии:

– Вы когда-нибудь слышали такой изумительный рэгтайм? Стоит его заиграть, и я уже ничего не могу с собой поделать.

Мистер Блокмэн вежливо зааплодировал.

– Вам нужно выступить на сцене.

– Да я с радостью! – воскликнула Мюриэл. – А вы составите протекцию?

– Непременно.

С подобающей случаю скромностью Мюриэл прекратила исполнять танцевальные пируэты и спросила Мори, что он «видел» в этом году. Мори решил, что речь идет о мире драматического искусства, и между ними начался оживленный обмен названиями спектаклей, который звучал примерно так:

М ю р и э л. Вы видели «Пег в моем сердце»?

М о р и. Нет, не видел.

М ю р и э л (*пылко*). Изумительно! Непременно посмотрите.

М о р и. А вы видели «Омара-Палаточника»?

М ю р и э л. Нет, но слышала, что вещь превосходная. Очень хочется посмотреть. А видели вы «Коктейль “Фэйр энд уормер”» Эвери Хопвуда?

М о р и (*с надеждой в голосе*). Да.

М ю р и э л. По-моему, ничего хорошего. Полная ерунда.

М о р и (*смиренно*). Совершенно верно.

М ю р и э л. Зато вчера я посмотрела «В рамках закона». Замечательно! А ходили вы на «Маленькое кафе»?

Беседа продолжалась, пока не исчерпался запас названий пьес. А Дик тем временем сосредоточил внимание на Блокмэне, твердо намереваясь выяснить, сколько крупниц золота можно извлечь из этой бесперспективной породы.

– Я слышал, что все новые романы сразу же после публикации закупаются для киносценариев.

– Сушая правда. Безусловно, самое главное для фильма – добротный сюжет.

– Согласен.

– Так много романов перегружено разговорами и рассуждениями на темы психологии. Подобные произведения не представляют для нас ценности. На их основе невозможно создать что-то интересное на экране.

– Значит, прежде всего – интригующий сюжет, – пронизательно заметил Ричард.

– Вот именно, сюжет – прежде всего... – Блокмэн вдруг оборвал речь на полуслове, его взгляд скользнул в сторону, и все остальные тоже погрузились в молчание, будто он поднял палец, призывая к вниманию. Из туалетной комнаты выходила Глория в сопровождении Рейчел.

В ходе ужина, помимо прочего, выяснилось, что Джозеф Блокмэн никогда не танцует, а наблюдает за другими со снисходительно-усталым видом взрослого, оказавшегося в детской компании. Он обладал чувством собственного достоинства и был человеком гордым. Уроженец Мюнхена, Блокмэн начал свою американскую карьеру продавцом арахисовых орешков в бродячем цирке. В восемнадцать лет он выступал в цирковых репризах и вскоре стал управляющим, а потом и владельцем второсортного варьете. К тому времени, когда кинематограф из вызывающей любопытство новинки превратился в многообещающую индустрию, Блокмэн был честолюбивым молодым человеком двадцати шести лет, располагавшим некоторой суммой для вложения в дело. Не дававшие покоя амбиции в финансовой сфере сочетались у него с хорошим практическим знанием шоу-бизнеса. С той поры прошло девять лет. Развивающаяся киноиндустрия подняла и вынесла его наверх, вышвырнув десятки людей с лучшими финансовыми способностями, более богатым воображением и ценными практическими идеями. И вот теперь он сидит здесь и созерцает божественную Глорию, из-за которой юный Стюарт Холком покинул Нью-Йорк и отправился в Пасадену. Киноделец наблюдал за девушкой, точно зная, что сейчас она закончит танец, подойдет к столику и сядет по левую руку от него.

Блокмэн тешил себя надеждой, что Глория не станет медлить. Ведь устриц подали еще несколько минут назад.

А в это время Энтони, чье место находилось слева от Глории, танцевал с ней, упорно придерживаясь одной и той же четверти танцпола. Эти действия, на случай окажись здесь кавалеры без дам, являли собой деликатный намек на некоторые права в отношении партнерши и означали следующее: «Черт бы вас побрал! Не вздумайте сунуться!» Энтони умышленно давал понять, что отношения между ними глубоко личные и все остальные тут лишние.

– Знаете, – начал он, глядя на Глорию сверху вниз, – сегодня вы обворожительны.

Девушка встретила с ним взглядом. Их разделяло всего несколько сантиметров.

– Благодарю... Энтони.

– Вообще-то вы так прекрасны, что даже делается как-то неловко и тревожно, – добавил он, на сей раз без улыбки.

– И вы очень милый.

– Вот славно! – рассмеялся Энтони. – Мы хвалим друг друга.

– А разве обычно вы ведете себя иначе? – быстро спросила Глория, будто поймав его на слове. Она поступала так всегда при малейшем намеке на свою особу, требующем объяснений.

Энтони понизил голос, и теперь в его тоне едва улавливалась добродушная насмешка:

– А разве священнику полагается хвалить папу?

– Ну, не знаю... пожалуй, это самый изысканный и туманный комплимент из всех, что я слышала.

– Может, сказать пару банальностей?

– Нет, не трудитесь. Взгляните-ка лучше на Мюриэл! Да вот же, рядом с нами.

Энтони бросил взгляд через плечо. Искрящаяся щека Мюриэл покоилась на лацкане смокинга, принадлежащего Мори Ноублу, а напудренная рука обвилась вокруг его головы. Сам собой напрашивался вопрос, почему она не воспользовалась возможностью ухватить его за шиворот. Глаза Мюриэл то устремлялись в потолок, то блуждали по сторонам, бедра покачивались, и она что-то тихонько напевала во время танца. Сначала создавалось впечатление, что она переводит песню на неизвестный иностранный язык, но вскоре становилось ясно, что девушка пытается заполнить такты единственно знакомыми ей словами, которые являлись названием песенки:

Он поклонник регги,
Поклонник регги,
Большой поклонник регги,
Поклонник, поклонник,
Регги, регги, регги...

И дальше в том же духе. С каждым разом фразы становились все более непонятными и варварскими. Встречаясь с изумленными взглядами Энтони и Глории, Мюриэл одаривала их лишь слабой улыбкой и наполовину прикрывала глаза, давая понять, что мелодия завладела ее душой, повергая в иступленный и невероятно обольстительный экстаз.

Музыка закончилась, и они вернулись за столик, одинокий, но исполненный чувства собственного достоинства, обитатель которого поднялся им навстречу и встретил такой чарующей улыбкой, будто, пожимая руку, поздравлял с блистательным выступлением.

– Блокхед вечно не желает танцевать! По-моему, у него деревянная нога, – заметила Глория, обращаясь ко всем присутствующим за столом. Трое молодых людей от неожиданности вздрогнули, а джентльмен, которому были адресованы эти слова, поморщился.

За все время знакомства Блокмэна с Глорией это был единственный неприятный момент. Девушка безжалостно коверкала его фамилию. Сначала называла Блокхаузом, а потом еще

более оскорбительно – Блокхедом⁴. Пытаясь казаться ироничным, он настоятельно попросил Глорию звать его по имени, и та послушно исполнила просьбу, правда, всего несколько раз. Потом, смеясь и раскаиваясь в оплошности, Глория снова стала называть его Блокхедом.

Это было печально и очень неразумно.

– Боюсь, мистер Блокмэн сочтет нас толпой легкомысленных насмешников, – вздохнула Мюриэл, указывая в его сторону болтающейся на вилке устрицей.

– Именно так он и думает, – пробормотала Рейчел. Энтони стал вспоминать, произнесла ли она хоть слово за весь вечер. Пожалуй, нет. Это было ее первое замечание.

Мистер Блокмэн вдруг откашлялся и громким отчетливым голосом произнес:

– Напротив. Когда говорит мужчина, это дело обычное. За его спиной стоят тысячелетние традиции. Совсем иное дело – женщина. Она, как бы точнее выразиться... она является чудодейственным рупором грядущих поколений.

В ошеломляющей тишине, последовавшей за этим удивительным высказыванием, Энтони вдруг поперхнулся устрицей и торопливо прикрыл лицо салфеткой. Рейчел и Мюриэл, несколько удивленные, тихонько хихикнули. Их поддержали Дик и Мори. У обоих покраснели лица от отчаянных попыток сдержать рвущийся наружу хохот.

«Господи! – подумал Энтони. – Да он повторяет субтитры из фильма. Оказывается, этот тип их заучивает наизусть!»

Только Глория не проронила ни звука, устремив на мистера Блокмэна полный немого укора взгляд.

– Ради всех святых! Где вы это откопали?

Блокмэн бросил на Глорию растерянный взгляд, не понимая, куда та клонит, но уже в следующее мгновение пришел в себя и изобразил снисходительно-вежливую улыбку осведомленного умного человека, оказавшегося среди избалованных и испорченных юнцов.

Из кухни прибыл суп, но одновременно из бара вышел дирижер оркестра, лицо которого приобрело оттенок, свойственный людям после принятия большой кружки крепкого пива. Итак, суп оставили остывать, пока исполнялась баллада под названием «Все на месте, кроме твоей жены».

Потом подали шампанское, и компания заметно повеселела. Мужчины, за исключением Ричарда Кэрамела, пили без стеснения, Глория и Мюриэл тоже то и дело отхлебывали из своих бокалов, и только Рейчел Джеррил даже не притронулась к спиртному. Во время исполнения вальсов они оставались за столиком, но танцевали под другие мелодии... все, кроме Глории, которая, похоже, устала и предпочитала сидеть, покуривая сигарету. Ленивое безразличие во взгляде девушки вдруг сменялось живым интересом, в зависимости от того, слушала ли она Блокмэна или наблюдала за хорошенькой женщиной, которую заметила среди танцующих пар. Энтони очень хотелось знать, что именно рассказывает Блокмэн Глории. А тот жевал сигару, перекачивая ее из одного угла рта в другой, и после ужина стал вести себя настолько развязно, что позволял себе достаточно вольные жесты.

В десять часов Глория и Энтони вышли танцевать, и когда удалились от столика, где их уже не могли слышать, девушка чуть слышно попросила:

– Ведите меня к двери. Хочу спуститься в аптекарский магазин.

Энтони стал послушно продвигаться сквозь танцующую толпу в указанном направлении. В холле Глория его ненадолго покинула и появилась уже с накинутым на руку манто.

– Мне надо купить желатиновых пастилок, – шутливо извинилась она. – На сей раз ни за что не догадаетесь, зачем они понадобились. Просто тянет погрызть ногти, и я таки начну их грызть, если не достану пастилок. – Она вздохнула и уже в лифте продолжила: – Случается,

⁴ Болван (англ.).

грызу их целыми днями. Нервничаю и грызу себя. Простите за каламбур, я и не думала острить, слова сами собой сорвались с языка. Подумать только, Глория Гилберт – шутница.

Добравшись до нижнего этажа, они простодушно прошли мимо киоска со сладостями при отеле, спустились по широкой парадной лестнице вниз и, побродив по коридорам, нашли аптекарский магазин на вокзале Гранд-централ. Тщательно изучив прилавок с духами и косметикой, Глория купила желаемое, а потом, повинуясь взаимному невысказанному порыву, они взялись за руки и направились прочь от места, откуда пришли, прямо на Сорок третью улицу.

Ночь дышала оттепелью, и чувство, что вот-вот наступит тепло, было таким сильным, что легкий ветерок, гулявший вдоль тротуара, наваял Энтони образ невозможной сейчас весны с цветением гиацинтов. Над головой, в синем продолговатом небе, и вокруг, в ласковом колыхании воздуха, парила зыбкая иллюзия, сулящая новые времена, которые принесут освобождение от удушливой и затхлой атмосферы, из которой они только что спаслись бегством. На короткий миг шум автомобилей и журчание воды в сточных канавах показались продолжением мелодии, под которую совсем недавно танцевали. Энтони заговорил, и его слова сложились из заатаившего дыхание желания, которое ночь зародила в их сердцах.

– Давайте возьмем такси и немного прокатимся, – предложил Энтони, не глядя на девушку.

Ах, Глория, Глория!

Такси скучало у бордюра, а когда тронулось с места и, подобно кораблю в океанских просторах, затерялось среди первобытных громад зданий и то затихающих, то звучащих с новой силой криков и металлического скрежета, Энтони обнял девушку, привлек к себе и поцеловал в по-детски влажные губы.

Глория молчала и только подняла к нему бледное лицо, по которому, как лунное сияние сквозь листву, бродили пятна света и тени. Ее глаза казались сияющей рябью на белой глади лица-озера, а тень от волос обрамляла чело резкой сумрачной кромкой. Ни о какой любви не шло и речи. Ни намек на любовь. Красота Глории была холодной, как налитый сыростью ветер, как влажная нежность ее губ.

– При этом свете вы словно лебедь, – прошептал Энтони.

Наступила журчащая тишина. Молчание, готовое вот-вот разбиться вдребезги. И удержать его, окунаясь в забвение, сохранить ощущение, что Глория еще здесь, словно пойманное во мраке невесомое перышко, летящее сквозь мрак, можно только крепче сжимая ее в объятиях. Энтони, ликуя, беззвучно засмеялся, поднял голову и отвернулся от девушки, чтобы скрыть переполняющий его восторг, при виде которого нарушится изумительная неподвижность ее черт. А поцелуй... он уподоблялся прижтому к лицу цветку, который никак не опишешь, да и вспомнить едва ли удастся; словно сияние, излучаемое ее красотой, пролетая мимо, нечаянно опустилось на сердце Энтони и уже начало таять.

Здания отступили, превращаясь в неясные тени. Они уже ехали по Центральному парку, и спустя некоторое время величественным белым призраком проплыл мимо Метрополитен-музея, откликаясь звонким эхом на шум такси.

– Боже мой, Глория! Боже мой!

Ее глаза смотрели на Энтони сквозь глубину тысячелетий. И все чувства, что она могла испытывать, все слова, что могла произнести, казались неуместными в сравнении с естественностью ее молчания, совершенно невыразительными и неубедительными на фоне ее красноречивой красоты... и тела, изящного и безразличного, так близко от Энтони.

– Попросите таксиста повернуть назад, – пробормотала Глория, – и пусть поторопится.

* * *

В зале было жарко. Стол, загроможденный пепельницами и салфетками, выглядел старым и утратившим свежесть. Энтони и Глория вошли во время перерыва между танцами, и Мюриэл Кейн встретила их не в меру шаловливым взглядом.

– И где же вы пропадали?

– Ходили звонить матери, – холодно откликнулась Глория. – Я обещала. Мы разве пропустили танец?

Потом произошел случай сам по себе незначительный, который Энтони по веским причинам вспоминал много лет спустя. Джозеф Блокмэн, откинувшись на спинку стула, устремил на него странный взгляд, в котором невероятным и запутанным образом смешалось несколько разных чувств. При виде Глории он лишь привстал со стула и тут же вернулся к разговору с Ричардом Кэрамелом о влиянии литературы на кинематограф.

Волшебство

Неистовое, неожиданное чудо, свершившееся ночью, угасает вместе с медленной смертью последних звезд и преждевременным появлением мальчишек, торгующих газетами. Яркое пламя костра уменьшается до размеров тлеющего вдалеке платонического огонька; железо уже не раскалено добела, и из догорающих углей ушел жар.

Вдоль книжных полок, занимавших всю стену в библиотеке Энтони, дерзко полз холодный тонкий лучик солнечного света, безразлично, а порой с осуждением скользя по лицам Терезы Французской, Энн-суперженщины, Дженни из «Восточного балета» и Зюлейки-Волшебницы... и, наконец, уроженки Индианы Кору. Потом он нырнул вниз, в глубины столетий, с жалостью задерживаясь на призраках Елены, Таис, Саломеи и Клеопатры, которым до сих пор не дают покоя.

Энтони, умытый и выбритый, сидел в самом уютном из кресел и наблюдал за лучиком, пока тот не исчез с восходом солнца, сверкнув на прощание по ворсинкам ковра.

Было десять часов утра. У ног Энтони валялась «Санди таймс». Из фотографий, передовой статьи, страниц, посвященных проблемам общественности, а также из спортивных новостей следовало, что за последнюю неделю мир сильно преуспел в деле продвижения к некоей блистательной, хотя и не слишком ясной цели. За это время Энтони со своей стороны один раз навестил деда, дважды встретился с брокером и трижды побывал у портного... а в последний час последнего дня недели поцеловал прелестную, изумительно красивую девушку.

Когда Энтони добрался до дома, его воображение переполняли возвышенные, непривычные мечты. Вдруг исчезли все вопросы, не стало вечной проблемы, связанной с решениями, которые приходилось менять. Он испытывал чувство, не имеющее ничего общего ни с плотскими страстями, ни с разумом. Его даже нельзя было назвать сочетанием обеих упомянутых сфер. В данный момент Энтони всецело поглотила любовь к жизни, вытеснив все остальное, и он был согласен оставить это переживание обособленным от мира и сохранить его уникальность.

Энтони пришел к беспристрастному выводу, что ни одна из знакомых ему женщин не выдерживает никакого сравнения с Глорией. Она была абсолютно естественной и невероятно искренней. В этом Энтони нисколько не сомневался. Рядом с ней две дюжины школьниц и дебютанток, молодых замужних дам, бродяжек и беспутных девиц, с которыми Энтони имел дело, казались толпой особой женского пола в самом презрительном смысле слова. Призванные вынашивать и рожать детей, они источали вокруг себя едва уловимый запах пещеры и детской.

До сих пор, насколько понимал Энтони, Глория не подчинилась его воле и не тешила тщеславия... разве что утешала уже сама радость от общения с ней. Действительно, у него не было причин думать, что Глория подарила ему нечто большее, чем всем остальным. И это естественно. Мысль о некоей запутанной ситуации, возникшей после вчерашнего вечера, была расплывчатой и вызывала отвращение. Да и Глория отреклась от этого эпизода и погрела как полный обман. Просто двое молодых людей, обладающих достаточным воображением, чтобы отличить игру от действительности, случайной небрежностью своих встреч и развития дальнейших отношений заявляли, что сложившееся положение дел их нисколько не ранит.

Придя к такому заключению, Энтони направился к телефону и позвонил в отель «Плаза». Глории дома не оказалось, и мать не знала ни куда она ушла, ни когда придет.

И тут стало совершенно ясно, что все прежние размышления о вчерашнем случае изначально ошибочны. В отсутствии Глории просматривалась бездушность, граничащая с непристойностью, и Энтони подумалось, что своим уходом из дома девушка намеренно ставит его в неловкое положение и по возвращении с довольной улыбкой примет известие о его звонке. Как неосмотрительно с его стороны! Надо было выждать несколько часов и дать Глории понять: он тоже не принимает всерьез вчерашний случай. Непростительная глупость! Еще возомнит, что Энтони теперь считает себя фаворитом, которому оказана особая милость, и придаст без всяких на то оснований важное значение, по сути, банальному эпизоду, а это уж совершенно нелепо.

Энтони вспомнил, как в прошлом месяце прочел привратнику довольно запутанную лекцию о братстве людей, и тот счел это достаточным поводом, чтобы на следующий день явиться к нему домой и, устроившись на диване у окна, проболтать добрых полчаса. И Энтони вдруг пришел в ужас от мысли, что и Глория относится к нему точно так же, как он сам к злополучному привратнику. К нему, Энтони Пэгчу! Какой ужас!

Энтони и в голову не приходило, что он является пассивной игрушкой, которой управляет некая высшая сила, и Глория здесь ни при чем. Просто он играет роль светочувствительной пластинки, на которой делают фотографию. Неведомый фотограф-великан навел объектив на Глорию, щелк! – и бедной пластинке только остается воспринимать и удерживать изображение, следуя своему предназначению, как происходит со всеми предметами.

Но Энтони лежал на диване, уставившись на оранжевую лампу, беспокойно перебирал тонкими пальцами темные волосы и рисовал в воображении все новые картины. Вот сейчас Глория, наверное, в магазине, идет грациозной походкой среди мехов и бархата, мягко шурша платьем в этом мире шелестящего шелка, смеха, льющегося легким сопрано, и аромата множества погубленных, но еще живых цветов. Все Минни, Перл, Джуэл и Дженни кружат возле нее, словно придворные дамы, разворачивая легкий как дымка воздушный креп-жоржет, тонкий шифон, в котором отражается нежная пастель ее лица, молочно-белое кружево, беспорядочным водопадом льющееся по шее. Дамастная ткань использовалась в то время только для одеяний священника и обивки мебели, а ткани Самарканда остались лишь в воспоминаниях поэтов-романтиков.

Вот Глория уже в другом месте, примеряет сотню шляпок, наклоня головку в разные стороны в тщетных поисках искусственной вишенки, которая подойдет по цвету к ее губам, или перьев, таких же изящных, как ее гибкое тело.

Наступает полдень, и Глория спешит вдоль Пятой авеню, эдакий нордический Ганимед⁵. Полы шубки изящно развеваются на ходу, ветер, подобно живописцу, прикасается невидимой кистью к щекам, и они загораются румянцем, дыхание вырывается восхитительным легким облачком тумана в бодрящем морозном воздухе. Вращаются двери отеля «Ритц», толпа рас-

⁵ Ганимед – прекрасный троянский юноша, которого похитил Зевс и сделал виночерпием на Олимпе.

ступается, и десятки мужских глаз, загоревшись восторгом, устремляются на ту, что вернула забытые мечты мужьям всех этих тучных, до нелепости смешных женщин.

Уже час пополудни. Глория вонзает вилку в сердце обожающего ее артишока, а ее спутник роняет бессмысленные фразы, обычные для мужчины в состоянии восторга.

Четыре часа. Маленькие ножки движутся в такт мелодии, лицо выделяется среди толпы, партнер счастлив, как щенок, которого погладили, и так же безрассуден, как приснопамятный торговец шляпами... А потом... потом наступит ночь и, возможно, еще одна оттепель. Огни рекламы зальют своим светом улицу. И кто знает? Может быть, с таким же безумцем, как Энтони, они попробуют воссоздать картину игры света и теней, увиденную на притихшей улице прошлой ночью. И может быть, ах, может быть, им это удастся! Тысячи такси будут дремать на тысячах перекрестков, и только для него тот поцелуй утрачен безвозвратно. В тысяче облиций Таис подзовет такси и поднимет лицо, жаждущее любви и нежности. И в ее бледности будет очарование невинности, а поцелуй – целомудренным, как лунный свет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.